



В. А. Маклаков

# Власть и общественность на закате старой России

Воспоминания  
современника

РОССИЯ В  
МЕНУАРАХ



Россия в мемуарах

Василий Маклаков

**Власть и общественность  
на закате старой России.  
Воспоминания современника**

«НЛО»

УДК 94(47)083  
ББК 63.3(2)53

**Маклаков В. А.**

Власть и общественность на закате старой России. Воспоминания современника / В. А. Маклаков — «НЛО», — (Россия в мемуарах)

ISBN 978-5-4448-2128-2

Василий Алексеевич Маклаков (1869–1957) известен как общественный и политический деятель конца XIX – начала XX века, адвокат, участник процессов, на которых рассматривались дела М. М. Бейлиса и Н. Э. Баумана, помощник Ф. Н. Плевако, лидер правого крыла Конституционно-демократической партии и кадетской фракции II, III и IV Государственных дум. В эмиграции его талант мемуариста раскрылся в полную силу: Маклаков опубликовал около трех десятков статей и книг, посвященных воспоминаниям и размышлениям о дореволюционной России, ее повседневной, общественной и политической жизни. Его биография и взгляды хорошо изучены, однако самые масштабные мемуары Маклаков до сих пор не переиздавались в России. В этой книге, написанной на стыке автобиографии, публицистики и исторического исследования, он мастерски описывает деятелей и события прошлого. Здесь автор предстает не только как литератор и талантливый рассказчик, но и как историк, способный на тонкий и глубокий анализ.

УДК 94(47)083  
ББК 63.3(2)53

ISBN 978-5-4448-2128-2

© Маклаков В. А.

© НЛО

## Содержание

«Здесь и автобиография, и история, и публицистика». Василий Маклаков и его главные мемуары	6
Отдел первый. Реакция	22
Глава I. Юность моего поколения	22
Глава II. Старшие	37
Глава III. Студенчество моего времени	59
Конец ознакомительного фрагмента.	67

## **В. А. Маклаков**

# **Власть и общественность на закате старой России. Воспоминания современника**

### **«Здесь и автобиография, и история, и публицистика».**

### **Василий Маклаков и его главные мемуары**

Василий Алексеевич Маклаков (1869–1957) вошел в историю России конца XIX – начала XX в. как адвокат, оратор, юрист и публицист, как лидер правого крыла Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы) и кадетской фракции II – IV Государственных дум, а также как талантливый мемуарист. К настоящему времени биография и взгляды Маклакова, по крайней мере в общих чертах, изучены достаточно хорошо<sup>1</sup>, причем наиболее заметный вклад внес О. В. Будницкий<sup>2</sup>. Тем не менее имеются все основания для того, чтобы остановиться подробнее на личности автора воспоминаний, предлагаемых вниманию читателей.

Василий Алексеевич Маклаков родился 10 мая 1869 г. в Москве и был крещен там же 22 мая<sup>3</sup>. Отцом его являлся Алексей Николаевич Маклаков (1837–1895), известный офтальмолог, основатель Московской офтальмологической школы. Мать, Елизавета Васильевна Чередеева (1848–1881), спустя 12 лет после рождения первенца скончалась, и его мачехой в 1885 г. стала писательница Лидия Филипповна Нелидова, урожденная Королева, в первом браке Ломовская (1851–1936). Все биографы В. А. Маклакова указывают, что он потомственный дворянин, однако в действительности с его происхождением все было сложнее. Статский советник А. Н. Маклаков 2 апреля 1880 г. получил орден Св. Владимира 3-й степени<sup>4</sup>, после чего 9 сентября 1882 г. обратился в Московское дворянское депутатское собрание с прошением, в котором говорилось: «По Всемилоштивейше пожалованному мне ордену Св. Владимира 3 ст. желаю быть записанным в родословную книгу дворянства Московской губернии, вместе с покойною женою моею Елизаветою Васильевною, рожденною Чередеевою, и детьми

<sup>1</sup> См.: *Адамович Г. В.* Василий Алексеевич Маклаков. Политик, юрист, человек. Париж, 1959; *Карпович М.* Два типа русского либерализма: Маклаков и Милюков // *Новый журнал*. 1960. Кн. 60. С. 265–280; *Серков А. И.* Маклаков Василий Алексеевич // *Серков А. И.* Русское масонство. 1731–2000 гг.: энциклопедический словарь. М., 2001. С. 509–511; *Дедков Н. И.* Консервативный либерализм Василия Маклакова. М., 2005; *Соловьев К. А.* Маклаков Василий Алексеевич // *Российский либерализм середины XVIII – начала XX в.: энциклопедия*. М., 2010. С. 550–554; *Шевырин В. М.* Василий Алексеевич Маклаков. «Счастье и благо личности скажут нам, куда направить развитие общества...» // *Российский либерализм. Идеи и люди*. М., 2018. Т. 2. С. 563–572, и др. работы.

<sup>2</sup> См. его статьи: Нетипичный Маклаков // *Отечественная история*. 1999. № 2. С. 12–26; № 3. С. 64–80; Маклаков и Милюков: два взгляда на русский либерализм // *Либерализм в России: исторические судьбы и перспективы*. М., 1999. С. 416–428; В. А. Маклаков и «еврейский вопрос» // *Вестник Еврейского университета*. История. Культура. Цивилизация. 1999. № 1 (19). С. 42–94; Милюков и Маклаков: к истории взаимоотношений. 1917–1939 // П. Н. Милюков: историк, политик, дипломат. М., 2000. С. 358–383; В. А. Маклаков // *Российские либералы*. М., 2001. С. 492–533; Попытка примирения // *Дiaspora. Новые материалы*. Париж; СПб., 2001. Вып. 1. С. 179–240; В. А. Маклаков и журнал «Современные записки» // *Вокруг редакционного архива «Современных записок»* (Париж, 1920–1940). М., 2010. С. 203–232; а также публикации: «Большевизм есть несчастье, но несчастье заслуженное»: переписка В. А. Маклакова и А. А. Кизеветтера (совместно с Т. Эммонсом) // *Источник*. 1996. № 2. С. 4–24; Послы несуществующей страны // «Совершенно лично и доверительно!»: Б. А. Бахметев – В. А. Маклаков. Переписка 1919–1951: В 3 т. М.; Стэнфорд, 2001–2002; 1945 год и русская эмиграция. Из переписки М. А. Алданова, В. А. Маклакова и их друзей // *Ab Imperio*. 2011. № 3. С. 243–311; Спор о России: В. А. Маклаков – В. В. Шульгин. Переписка 1919–1939 гг. М., 2012; Адвокаты в изгнании. Из переписки Василия Маклакова и Оскара Грузенберга // *Родина*. 2014. № 10. С. 138–141; № 11. С. 124–125; «Я совершенно признаю, что продолжать совместную работу нам будет трудно»: В. А. Маклаков // «Современные записки» (Париж, 1920–1940): Из архива редакции / Под ред. О. Коростелева и М. Шрубы. М., 2014. Т. 4. С. 111–242; «Права человека и империи»: В. А. Маклаков – М. А. Алданов. Переписка 1929–1957 гг. М., 2015. С. 5–44.

<sup>3</sup> Копия метрического свидетельства В. А. Маклакова // РГИА. Ф. 1343. Оп. 25. Ч. 1. Д. 477. Л. 14.

<sup>4</sup> Копия грамоты о награждении А. Н. Маклакова орденом Св. Владимира 3-й ст. // Там же. Л. 12.

моими...»<sup>5</sup>. К этому времени у А. Н. Маклакова было трое сыновей (Василий, Николай и Алексей) и четыре дочери (Елизавета, Александра, Ольга и Мария). Московское дворянское депутатское собрание 2 января 1880 г. постановило внести А. Н. Маклакова и его детей в 3-ю часть Московской дворянской родословной книги, а 19 марта 1884 г. Сенат утвердил постановление депутатского собрания, поскольку А. Н. Маклаков получил орден Св. Владимира 3-й ст., «каковым приобрел права потомственного дворянства»<sup>6</sup>. Следовательно, В. А. Маклаков стал дворянином, когда ему было 14 лет.

В 1887 г. Василий окончил с серебряной медалью 5-ю Московскую гимназию и поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета, во время учебы он активно участвовал в студенческом движении. В 1890 г. за участие в студенческих беспорядках был арестован и провел пять суток в Бутырской тюрьме, а затем вообще исключен из университета без права поступления в него. Однако в 1891 г. благодаря хлопотам отца Маклакова восстановили в университете, но с переводом на историко-филологический факультет. Здесь он серьезно увлекся историей и стал одним из любимых учеников известного медиевиста профессора П. Г. Виноградова, который в 1894 г., по окончании Маклаковым учебы, предложил ему остаться в университете для подготовки к профессорскому званию. Этому воспротивился попечитель Московского учебного округа Н. П. Боголепов, не забывший «грехи молодости» Маклакова. Военскую повинность он отбывал канониром на правах вольноопределяющегося 1-го разряда в 3-й батарее 3-й Гренадерской артиллерийской бригады, откуда в сентябре 1895 г., выдержав экзамен на чин прапорщика запаса, был уволен в запас. Ранее, в мае этого года, семью Маклакова постигло большое горе – скончался его отец, и старший сын, чувствуя на себе груз ответственности за младших братьев и сестер, решил стать адвокатом. В 1896 г. Маклаков сдал экстерном экзамены по курсу юридического факультета Московского университета и стал помощником присяжного поверенного А. Р. Ледницкого, а позднее – знаменитого Ф. Н. Плевако.

В 1898–1900 гг. Маклаков был женат на оперной певице Евгении Павловне Михайловской. Судя по всему, она пошла на этот брак, чтобы узаконить свою дочку, которая при крещении получила фамилию «отца» (а может быть, и действительно отца). «Бог с тобой, я не могу тебя упрекать, – писала Михайловская Маклакову 27 июля 1898 г. – Меня только возмущает адская несправедливость – я так полюбила свою бедняжку! А ты? Ты исполнил обещание, ты дал ей ненадолго свое имя...»<sup>7</sup>. Семейная жизнь у начинающего адвоката не сложилась: по прошению жены, обвинившей Маклакова в супружеской неверности, их брак был расторгнут решением московского епархиального начальства. Сенат 29 февраля 1900 г. утвердил это постановление с осуждением Маклакова «на всегдашнее безбрачие», и впоследствии он более в официальный брак не вступал и детей не имел. В 1901 г. Маклаков был утвержден присяжным поверенным округа Московской судебной палаты, наконец-то получив право на адвокатскую практику. Вместе с П. Н. Маляновичем, Н. К. Муравьевым и Н. В. Тесленко Маклаков организовал кружок молодых адвокатов, которые, помимо прочего, бесплатно защищали в судах интересы малоимущих. Маклаков сделал хорошую карьеру, специализируясь на политических процессах, на которых рассматривались дела Н. Э. Баумана (1905), о Выборгском воззвании (1907), М. М. Бейлиса (1913) и др. Секретом успеха Маклакова как адвоката было его ораторское дарование.

В августе 1904 г. начинается превращение преуспевающего адвоката в политика, поскольку в августе этого года Маклаков становится секретарем и архивариусом, затем – чле-

<sup>5</sup> Прошение А. Н. Маклакова в Московское дворянское депутатское собрание. 9 сентября 1882 г. // Там же. Л. 3.

<sup>6</sup> Там же. Л. 20, 21, 22, 23.

<sup>7</sup> ОПИ ГИМ. Ф. 31. Оп. 1. Д. 45. Л. 22. Приношу благодарность К. А. Соловьеву за предоставление архивной информации о супруге В. А. Маклакова.

ном Бюро кружка «Беседа», который координировал деятельность либеральной оппозиции. В ноябре 1904 г. на квартире Маклакова состоялось собрание присяжных поверенных, выдвигнувшее требование введения в России конституции. В 1905 г. он являлся одним из лидеров Союза адвокатов, который входил в антиправительственный Союз союзов. В октябре 1905 г. Маклаков участвовал в подготовке Учредительного съезда Конституционно-демократической партии, а в январе 1906 г. на 2-м съезде Кадетской партии он был избран членом ее Центрального комитета и оставался им до 1917 г., будучи лидером правого крыла ЦК. Одновременно Маклаков являлся членом Московского городского комитета Кадетской партии и руководил партийной Школой ораторов. Наконец, он вступил в число масонов: 18 апреля 1906 г. его приняли в Великую ложу Востока, позднее – в розенкрейцеровский капитул «Астрейя» (Петербург, Москва), в ложи «Возрождение» (Москва), «Полярная звезда» (Петербург), «Свободная Россия» и «Северная Звезда» (обе – Париж) и др.

В 1907–1917 гг. Маклаков являлся депутатом III и IV Государственных дум от Москвы и членом кадетской фракции, но более всего он прославился как «думский златоуст» – один из самых лучших ораторов нижней палаты. Параллельно Маклаков продолжал заниматься адвокатской практикой и сотрудничал в газете «Русские ведомости» и журналах «Вестник Европы», «Московский еженедельник», «Русская мысль». После начала Первой мировой войны он служил во Всероссийском земском союзе помощи больным и раненым воинам, с августа 1915 г. представлял эту организацию в Особом совещании для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства. С августа 1915 г. по февраль 1917 г. Маклаков входил в Прогрессивный блок, оппозиционное межфракционное объединение в Государственной думе, и рассматривался лидерами блока как главный кандидат на пост министра юстиции в Министерстве общественного доверия, призванном заменить императорское правительство, ответственное перед Николаем II, а не Думой. Оппозиционность Маклакова дошла до того, что в ноябре 1916 г. он помогал В. М. Пуришкевичу и князю Ф. Ф. Юсупову в организации убийства Г. Е. Распутина, а в начале 1917 г. стал активным участником Февральской революции.

С 28 февраля по 3 марта 1917 г. Маклаков – комиссар Временного комитета Государственной думы в Министерстве юстиции, вечером 3 марта он участвовал в составлении акта великого князя Михаила Александровича об отказе от восприятия верховной власти, переданной ему 2 марта Николаем II. Маклаков оказался востребованным революционной властью: с 8 марта он был председателем, с 20 марта – членом Юридического совещания при Временном правительстве, с 25 марта – членом Комиссии при Министерстве юстиции для восстановления основных положений Судебных уставов и согласования их с происшедшей переменой в государственном устройстве. Временный комитет Государственной думы 4 мая избрал Маклакова своим членом, Временное правительство назначило его 25 мая членом Особого совещания для изготовления проекта Положения о выборах в Учредительное собрание, а 1 августа членом Всероссийской по делам о выборах в Учредительное собрание комиссии (Всевыборы). На состоявшемся 6 августа собрании православных членов Временного комитета Государственной думы Маклакова избрали членом Поместного собора Русской православной церкви. В августе он становится членом Совета общественных деятелей и участвует в Государственном совещании, которое заседало в Москве. С 3 октября Маклаков еще и член Временного совета Российской республики (Предпарламента), однако в это время он доживал последние дни в России, поскольку в июле Временное правительство решило назначить его послом во Францию.

Маклаков прибыл в Париж 26 октября, но уже 17 ноября, после победы в Петрограде Октябрьской революции, большевистский народный комиссар иностранных дел Л. Д. Троцкий сместил Маклакова с этого поста. 24 ноября 1917 г. он был избран членом Учредительного собрания от Москвы. До установления в 1924 г. дипломатических отношений между СССР и Францией французское правительство признавало Маклакова послом России, и в этой

должности в 1918–1920 гг. он являлся одним из руководителей дипломатии Белого движения. С 1924 г. Маклаков возглавлял Русский эмигрантский комитет во Франции (или Центральный офис по делам русских беженцев) и одновременно, как и ранее, участвовал почти во всех крупных культурных начинаниях эмигрантов в Париже. С другой стороны, в 1920–1930-е гг., когда не только культурная, но и политическая жизнь эмиграции первой волны была ключом, Маклаков демонстративно дистанцировался от политики, вследствие чего оказался более, чем кто-либо из известных дореволюционных политиков, «своим среди чужих, чужим среди своих».

В 1920 г. в русской эмиграции стали выкристаллизовываться три основных политических направления – монархическое, белогвардейское и социалистическое. Представители монархического направления, лидерами которого были недавние руководители Союза русского народа (Н. Е. Марков-2-й и др.), ратовали за реставрацию в России монархии, расходясь, однако, в том, кого признавать претендентом на престол – великого князя Кирилла Владимировича (двоюродного брата Николая II) или великого князя Николая Николаевича (двоюродного дядю Николая II). Сторонники белогвардейского направления, возглавляемые «раскаившимися либералами» типа П. Б. Струве, выступали с позиций «непредрешенчества», то есть за то, чтобы вопрос о форме правления не предreshался до созыва в России, после свержения большевизма, общенационального учредительного органа, которому и надлежало решить этот вопрос. Сторонники социалистического направления, руководимые бывшими лидерами Партии социалистов-революционеров, в отличие от монархистов и белогвардейцев, были принципиальными республиканцами, а потому, не принимая Октябрьскую революцию всецело, продолжали отстаивать «завоевания Февраля». В условиях такой расстановки политических сил Кадетская партия была обречена на раскол после того, как в декабре 1920 г. лидер Кадетской партии П. Н. Милюков, который в эмиграции возглавил ее Парижскую группу, объявил о «новой тактике» партии, заключающейся в ориентации кадетов не направо, как это было во время Гражданской войны, а налево – для объединения с умеренными социалистами, прежде всего правыми эсерами, основавшими в эмиграции журнал «Современные записки». В июне – июле 1921 г. Кадетская партия раскололась на две части, соответствовавшие существовавшим с момента основания партии левому и правому крылу, причем Милюкова поддержало меньшинство, образовавшее Демократическую группу, но в марте этого года именно он стал главным редактором самой популярной русской эмигрантской газеты «Последние новости». В июне 1924 г. по инициативе Милюкова в Париже возникли Республиканско-демократическое объединение и Республиканско-демократическая группа Партии народной свободы, членами которой могли быть не только кадеты.

Первоначально Маклаков участвовал в Совещании бывших членов Государственного совета и Государственной думы (ноябрь 1920 г.) и в Совещании членов Учредительного собрания (январь 1921 г.). Однако «новая тактика» Милюкова и резкое поправление далеко не самых правых кадетов оттолкнули Маклакова от «родной» партии и способствовали его превращению в беспартийного общественного деятеля. Впрочем, Маклаков по-прежнему поддерживал отношения и с консерваторами, и с либералами, и с социалистами, чему способствовали как особенности его личности, так и обязанности начальника Центрального офиса по делам русских беженцев. В 1940–1944 гг., во время германской оккупации Франции, Маклаков участвовал в движении Сопротивления и 28 апреля 1942 г. был арестован гестапо, после чего провел пять месяцев в тюремном заключении. Во главе группы русских эмигрантов 12 февраля 1945 г. Маклаков не только посетил советское посольство в Париже и передал через посла СССР А. Е. Богомолова поздравления советскому правительству, но и провозгласил тост за победы Красной армии. В связи с этим 24 марта 1945 г. Маклакова избрали почетным председателем Объединения русской эмиграции для сближения с Советской Россией, однако вскоре он отказался от подобной идеи и покинул свой пост. Умер Василий Алексеевич от гангрены ног 15 июля

1957 г. в швейцарском Бадене, где и был похоронен первоначально, позднее его прах перезахоронили на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа близ Парижа.

\* \* \*

В отличие от биографии В. А. Маклакова история создания впервые публикуемых в нашей стране его главных мемуаров – «Власть и общественность на закате старой России» – изучена явно недостаточно. Во многом это объясняется сложностью не только их истории и предыстории, но и тех конкретных, даже бытовых обстоятельств, в которых они создавались. Дело в том, что Маклаков не отличался совершенством почерка и вообще, несмотря на громадный объем его письменного наследия, был устным, а не письменным человеком и потому собственные тексты предпочитал не писать, а диктовать или, на худой конец, перепечатывать на пишущей машинке.

Обрисовывая свою творческую лабораторию, Маклаков признавался В. В. Шульгину в феврале 1924 г.: «Написать и отложить на некоторое время трудно, потому что через некоторое время я своего почерка не узнаю, мне приходится работать не отставая, покуда я не приведу работу в тот вид, в котором она может быть переписана. <...> В Петрограде у меня был диктофон, и я писал все при его посредстве, это была замечательная вещь. Но никакой переписчик, ни стенограф мне его не заменит. Во-первых, потому что стенограф имеет свойство уставать, что вообще человеческие силы имеют предел, который может не совпадать с моей усталостью, почему стенограф не всегда в моем распоряжении, как был диктофон, а во-вторых, что для настоящей интенсивной работы мне всегда мешает присутствие постороннего человека около меня»<sup>8</sup>. Так немаловажные детали эмигрантского быта оказывали влияние на творчество эмигрантов первой волны...

Работу над воспоминаниями В. А. Маклаков начал как бы случайно. В 1923 г. по просьбе издателя Я. Е. Поволоцкого он написал предисловие к парижскому переизданию беллетризованного дневника В. М. Пуришкевича, посвященного участию его автора в подготовке и совершении убийства Г. Е. Распутина<sup>9</sup>. Обращение Поволоцкого к Маклакову вызывалось тем, что, как явствовало из дневника, Маклаков участвовал в подготовке этого убийства, о чем он через пять лет рассказал более подробно в воспоминаниях, опубликованных на страницах самого известного эмигрантского журнала «Современные записки»<sup>10</sup>. В том же 1923 г. выдержки из дневника Пуришкевича были опубликованы на французском языке в журнале «Revue de Paris»<sup>11</sup>, причем и в данном случае дневник предваряло предисловие Маклакова под названием «Пуришкевич и эволюция русских партий»<sup>12</sup>. Это предисловие заинтересовало французских знакомых Маклакова, которые попросили его написать воспоминания о русской революции 1917 г.

«Под влиянием различных причин, в которые не стоит входить, я, – сообщал В. А. Маклаков В. В. Шульгину 9 февраля 1924 г., – сейчас стою в раздумьи перед мыслью, не начать ли мне отбивать у Вас хлеб. И это не потому, чтобы Ваши лавры не давали мне спать или чтобы я мечтал с Вами сравняться. Главным образом, это потому, что на меня нажимают некоторые

---

<sup>8</sup> Спор о России. С. 176.

<sup>9</sup> Маклаков В. А. Открытое письмо издательству «Я. Е. Поволоцкий и К<sup>о</sup>» // Из дневника В. М. Пуришкевича. Убийство Распутина. Париж, [1923]. С. 3–11.

<sup>10</sup> Маклаков В. А. Некоторые дополнения к воспоминаниям Пуришкевича и кн. Юсупова // Современные записки. 1928. Кн. 34. С. 260–281.

<sup>11</sup> Pourishkevitch V. Comment j'ai tue Raspoutine // Revue de Paris. 1923. 15 oct. P. 747–773.

<sup>12</sup> Maklakoff B. Pourishkevitch et evolution des parties Russie // Revue de Paris. 1923. Vol. 5. 15 oct. P. 721–746. Отд. изд.: Purishkevich V. M. Comment j'ai tue Raspoutine. Pages du journal traduit du russe par Lydie Krestovsky. Paris: J. Povolozky et cie, [1924]. P. 9–35.

французы, а, во-вторых, потому что мне иногда совестно умереть, унеся с собой решительно все то, о чем иногда думаешь и говоришь с друзьями. Словом, от высокого слога переходя к простому, я Вам скажу, что от меня тоже просят для просветления французских умов написать им кое-что по современной русской истории, словом, какие-либо воспоминания о революции. Наседать на меня стали потому, что мое предисловие к Дневнику Пуришкевича в серьезных французских кругах имело успех»<sup>13</sup>. В результате в октябре – ноябре 1924 г. на страницах «Revue de Paris» В. А. Маклаков опубликовал цикл из трех статей под названием «Навстречу революции. Россия с 1900 по 1917 г.»<sup>14</sup>. В первой части, сквозь призму своих впечатлений, мемуарист изобразил события Февральской революции 1917 г. и их последствия, во второй – предысторию 1917-го, в третьей – события после Октябрьской революции. Уже тогда возник вопрос не только об издании этих статей отдельной книгой, но и о создании на их основе более развернутых воспоминаний. «Я, может быть, – информировал В. А. Маклаков Б. А. Бахметева 15 января 1925 г., – вовсе бы бросил начатое дело, если бы неожиданно не получил от одного здешнего издателя предложение выпустить мои статьи целой книгой. Но если так, то, очевидно, нужно было идти уже логическим путем, т. е. начинать сначала. Сделаю ли я это или нет – судить не могу; зависит от многих условий, может быть и сделаю»<sup>15</sup>. Однако тогда намерения Маклакова воплощения не получили, он вернулся к этому замыслу некоторое время спустя.

В 1927 г. в Советской России была закончена семитомная публикация допросов и показаний, данных государственными и общественными деятелями старого режима работавшей в марте – октябре 1917 г. Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц как гражданского, так и военного и морского ведомств<sup>16</sup>. В том же году во Франции издательство «Payot» опубликовало в одном томе французские переводы извлечений из этого семитомника, причем Предисловие написал В. А. Маклаков<sup>17</sup>. Характеризуя 19 декабря 1927 г. обстоятельства создания Предисловия, он сообщал Б. А. Бахметеву, что «“Предисловие” ведь и должно было быть только предисловием; предполагалось, что оно будет заключать от одного до двух печатных листов; лишь в процессе писания оно стало разрастаться; я стал захватывать новые области, прежний стройный план развалился, и, конечно, получилось нечто в целом неудобочитаемое. <...> Но вместе с тем в выборе материала, так сказать, тех мишеней, по которым я стрелял, играл роль не столько интерес самого вопроса, сколько соображения личного характера. И это необходимо понять и усвоить, чтобы судить о самом “Предисловии”. Несмотря на кажущуюся его объективность, оно имеет полемический характер; от себя я этого не скрываю»<sup>18</sup>.

Что же стало мишенью для полемических стрел В. А. Маклакова? «В этом предисловии бывший член Партии народной свободы, – подчеркивал бывший лидер этой партии П. Н. Милюков, – расширил пределы своей непосредственной задачи и дал общую характеристику политических событий последнего двенадцатилетия перед Октябрьской революцией. Своей задачей В. А. Маклаков поставил полный пересмотр сложившихся взглядов на значение подготовительного периода к революции и сосредоточил свою критику обычных представлений

<sup>13</sup> В. А. Маклаков – В. В. Шульгину. 9 февраля 1924 г. // Спор о России. С. 169.

<sup>14</sup> Maklakoff B. Vers la Révolution. La Russie de 1900 à 1917 // Revue de Paris. 1924. 1-er oct. P. 508–534; 15 nov. P. 271–291; 1-er déc. P. 609–631.

<sup>15</sup> «Совершенно лично и доверительно!». Т. 3. С. 222.

<sup>16</sup> См.: Падение царского режима: стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства: В 7 т. / Под ред. П. Е. Щеголева. М.; Л., 1924–1927.

<sup>17</sup> Maklakoff B. Préface // La chute du régime Tsariste: Interrogatoires des ministres, conseillers, généraux, hauts fonctionnaires de la Cour Impériale Russe par la Commission du Gouvernement Provisoire de 1917. Paris: Payot, 1927. P. 7–87.

<sup>18</sup> «Совершенно лично и доверительно!». Т. 3. С. 369.

почти исключительно на роли Партии народной свободы»<sup>19</sup>. Иными словами, Маклаков возложил вину за катастрофу 1917 г. в том числе и на Кадетскую партию, а в более широком смысле – и на русский либерализм начала XX в.

Подчеркнув, что «на все прошедшее в России есть установившиеся шаблонные точки зрения», В. А. Маклаков писал Б. А. Бахметеву 19 декабря 1927 г.: «Одни, люди старого режима, находят, что все было прекрасно, но откуда-то вышли революционеры и все испортили; есть другая точка зрения – русского либерализма и правого кадетизма, что вся беда в том, что и их, кадетов, не послушались, что в [1]906 г. не создали кадетского министерства с Милюковым во главе, а в 1917 г. за ними не пошли революционеры. Вот – это другое объяснение... Есть, наконец, и объяснения социалистические... Желая установить свою собственную точку зрения, я, может быть, перегибал палку в ту или другую сторону; и это довольно понятно, ведь мне нет надобности слишком усиленно отрешиваться от понятий старого режима; мне не было надобности и отмежевываться от революционеров; кроме глупых и пристрастных людей никто не смешает меня ни со старым режимом, ни с революцией; но все имеют право смешивать меня с Милюковым и вообще с кадетизмом. Оттого-то более всего я и отграничивался от них, подчеркивал, в чем с ними расхожусь и в чем их считаю виноватыми; эта чисто личная позиция усиливала оптический обман, заставляя думать, что я отношусь к ним наиболее враждебно; все это недоразумение; если я особенно настойчиво осуждаю их, то не только потому, что хочу от них отмежеваться, но и потому, что и считал и считаю, что именно они могли бы, если бы захотели, удержать Россию от разрушения. Этого не могли сделать ни революционеры, ни старый режим, а только – русский либерализм, и этого сделать не захотел»<sup>20</sup>. Уже в 1929 г. В. А. Маклаков получил возможность выразить свои взгляды более обстоятельно на страницах «Современных записок», которые начали с этого года печатать его воспоминания под названием «Из прошлого».

Полноценные мемуары В. А. Маклаков начал создавать по инициативе одного из редакторов «Современных записок» И. И. Фондаминского (Бунакова), который неоднократно встречался с Маклаковым в Париже, в гостеприимном эмигрантском салоне Эжена (Евгения Юльевича) Пети, чьи гости буквально заслушивались устными рассказами «думского златоуста» о былом. Маклаков позднее признавался: «Самая мысль изложить свое понимание нашего партийного прошлого принадлежала не мне. Поскольку в этом есть чья-то вина, она лежит на И. И. Фондаминском. Он меня ею соблазнил и в своем журнале дал мне эту возможность»<sup>21</sup>. «У каждого из нас, – вспоминал М. В. Вишняк, другой редактор «Современных записок», – были авторы, которым мы давали предпочтение перед другими. Среди таких у Фондаминского был В. А. Маклаков, с которым он встречался еженедельно в течение ряда лет по четвергам за завтраком у знакомых. Возможно, что они были связаны друг с другом и раньше, по масонской линии, когда Фондаминский еще считал себя масоном и посещал масонские собрания»<sup>22</sup>. Действительно, как Маклаков, так и Фондаминский были масонами высоких степеней, причем Маклаков – с дореволюционным стажем<sup>23</sup>.

Получив приглашение И. И. Фондаминского, В. А. Маклаков сообщил Б. А. Бахметеву 12 сентября 1928 г.: «...ко мне обратились с просьбой писать периодические и регулярные воспоминания, и я после некоторого колебания согласился; не знаю, дойду ли до конца, но попробую. Писать буду исключительно для русских, по-русски, но зато с полной откровенностью. Эти воспоминания поневоле выйдут тем, что большевики называют “самокритикой”, т. е. обви-

<sup>19</sup> Милюков П. Н. Суд над кадетским «либерализмом» // Современные записки. 1930. Кн. 41. С. 347.

<sup>20</sup> «Совершенно лично и доверительно!». Т. 3. С. 369–370.

<sup>21</sup> Маклаков В. А. Воспоминания. Лидер московских кадетов о русской политике. 1880–1917. М., 2006. С. 292.

<sup>22</sup> Вишняк М. В. «Современные записки»: воспоминания редактора. СПб.; Дюссельдорф, 1993. С. 193.

<sup>23</sup> Сергов А. И. Русское масонство. 1731–2000 гг.: энциклопедич. словарь. М., 2001. С. 509–511, 839–840.

нительным актом против того течения, к которому я сам себя причисляю, т. е. либерального; многие, конечно, будут недовольны; но что еще хуже, будут довольны те, кого я вовсе радовать не собираюсь, но с этим уже ничего не поделаешь; лгать и подлаживаться в этот момент просто не стоит»<sup>24</sup>. Характеризуя связь между Предисловием к французскому изданию материалов Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства и создаваемыми воспоминаниями, Маклаков информировал Бахметева 8 марта 1929 г.: «Там будут только больше развиты и специально для русской публики те же основные взгляды, которые Вы имели в моем “Предисловии”. Если можно было бы их выразить в одной формуле, то я бы сказал, что там заключается пересмотр либеральной идеологии и деятельности, сделанный на основании пережитого нами опыта. Менее всего мои очерки заслуживают название “Воспоминаний”, поскольку в этом слове предполагается всегда элемент личный»<sup>25</sup>. Таким образом, уже в начале создания воспоминаний Маклаков сознательно стал выходить за узкие жанровые рамки собственно «воспоминаний», допуская в них смешение жанров.

«Мне, – признавался В. А. Маклаков В. В. Шульгину 9 декабря 1929 г., – очень мешает и, вероятно, окончательно помешает то, что у меня в моих воспоминаниях чересчур смешанный жанр; здесь и автобиография, и история, и публицистика; словом, всего понемножку и ничего цельного; но иначе я и не смог бы заниматься одной автобиографией, т. е. писать о себе было бы не мой жанр де ботэ [не в моем стиле (*фр.*)]; превратиться в художника, говорить обо всем полунамеками, т. е. рисовать, как Вы это делали в “Днях”, мне не по плечу; адвокатура выработала во мне привычку неискоренимую все разжевывать, вталкивать, дорожить каждым аргументом; как писателю, мне это мешает»<sup>26</sup>. Адвокатская закваска предопределила стремление В. А. Маклакова к частичному оправданию царизма и пониманию правды представителей старого режима. Имея в виду воспоминания Маклакова «Из прошлого», О. В. Будницкий пишет: «Сильная сторона его размышлений, столь необычных для деятеля оппозиции, – как раз понять правду противоположной стороны. Нельзя сказать, что он не замечал ошибок, недобросовестности и прямых преступлений “исторической” власти; в том, что случилось с Россией, виноваты были все; но отвечать каждому надо было за свою собственную вину. Кадеты, по мнению Маклакова, своей вины не понимали. А вина их в конечном счете сводилась к тому, что они пытались осуществить правильные идеалы неправильными методами – и взяли к тому же неверный темп, не сумев понять реальной готовности – точнее, неготовности народа к либеральным преобразованиям. Правда бюрократов, консерваторов заключалась в том, что они лучше знали страну и механизмы управления. Либералы раскачали лодку, будучи уверенными, что справятся с течением, – и не сумели удержать руль; выброшенными за борт оказались все»<sup>27</sup>. Так или иначе, но и в данном случае, впрочем – как и всегда за свою судебную карьеру, выдающийся адвокат менее всего был адвокатом дьявола...

На работе В. А. Маклакова над воспоминаниями отпечаталось то, что он являлся не только выдающимся адвокатом, но и почти состоявшимся историком. Как указывалось выше, в Московском университете Маклаков учился на историко-филологическом факультете и принадлежал к числу любимых учеников известного медиевиста профессора П. Г. Виноградова, под руководством которого написал серьезную научную работу<sup>28</sup>. Неудивительно, что при работе над воспоминаниями Маклаков погрузился в пристальное изучение исторических источников и прежде всего нелегального журнала «Освобождение», издававшегося

<sup>24</sup> «Совершенно лично и доверительно!». Т. 3. С. 413.

<sup>25</sup> Там же. С. 426–427.

<sup>26</sup> Спор о России. С. 360.

<sup>27</sup> Будницкий О. В. В. А. Маклаков и журнал «Современные записки». С. 231.

<sup>28</sup> Маклаков В. А. Избрание жребием в Афинском государстве // Исследования по греческой истории. I. Избрание жребием в афинском государстве. В. Маклакова. П. Аристотель и Эфор. М. Гершензона. М.: Университетская типография, Страстной бульвар, 1894. С. 1–94.

в 1902–1905 гг. за границей лидерами либеральной оппозиции. «Я, – сообщал В. А. Маклаков Б. А. Бахметеву 24 мая 1929 г., – доставляю себе удовольствие перечитывать “Освобождение” за эти три года. Теперь псевдонимы раскрыты, да, наконец, просто узнаешь знакомые перья»<sup>29</sup>. Кроме «Освобождения» Маклаков основательно проштудировал газету «Право» – другой орган либеральной оппозиции начала XX в., а также записку графа С. Ю. Витте «Самодержавие и земство»<sup>30</sup> и протоколы особых совещаний, обсуждавших в июле 1905 и в апреле 1906 г. под председательством Николая II Учреждение законосовещательной («Булыгинской») Государственной думы<sup>31</sup> и проекты новых Основных государственных законов<sup>32</sup>.

Естественно, что в поле зрения В. А. Маклакова попали и документы частного характера – воспоминания и дневники государственных, общественных и революционных деятелей не только начала XX в., но и предыдущих периодов истории России, причем изданные как в эмиграции, так и в СССР. Среди авторов этих воспоминаний и дневников – И. П. Алексинский, М. М. Винавер, граф С. Ю. Витте, М. В. Вишняк, С. В. Завадский, А. А. Кизеветтер, граф В. Н. Коковцов, Е. Д. Кускова, М. Л. Мандельштам, П. Н. Милуков, Ж. М. Палеолог, Е. А. Перетц, И. И. Петрункевич, Т. И. Полнер, М. В. Родзянко, Ф. И. Родичев, В. А. Розенберг, Л. А. Тихомиров, А. Ф. Тютчева, Е. М. Феоктистов, В. М. Чернов, Д. Н. Шипов. Работая над воспоминаниями «Из прошлого», В. А. Маклаков уделил самое большое внимание мемуарам С. Ю. Витте, которые, из всех перечисленных источников, оказали на Маклакова самое большое влияние, вследствие чего он, будучи к тому же под обаянием личности графа, как его многолетний знакомый, воспринимал некритически многие сюжеты этих мемуаров и государственную деятельность Витте в целом.

Открывали воспоминания «Из прошлого» две вступительные главы, имевшие концептуальный характер – не столько мемуарных, сколько публицистических и даже, говоря современным языком, историко-политологических размышлений о причинах, природе и последствиях революции 1917 г. В первой статье делался особый упор на критику тактики русского либерализма вообще и Кадетской партии в особенности<sup>33</sup>, во второй – на раскрытие реформаторского потенциала царизма в лице Александра II, С. Ю. Витте и П. А. Столыпина<sup>34</sup>. П. Н. Милуков, откликаясь на начало публикации воспоминаний В. А. Маклакова, в газете «Последние новости» фактически обвинил его в измене либерализму и Кадетской партии<sup>35</sup>, а в дальнейшем сопровождал появление новых глав «Из прошлого» критическими статьями, печатавшимися не только в «Последних новостях»<sup>36</sup>, но и в «Современных записках»<sup>37</sup>. Конечно, либерализму Маклаков не изменял, а в случае с Кадетской партией и изменять было нечему, поскольку к концу 1920-х гг. ее попросту не существовало.

<sup>29</sup> «Совершенно лично и доверительно!». Т. 3. С. 438.

<sup>30</sup> Самодержавие и земство. Конфиденциальная записка министра финансов статс-секретаря С. Ю. Витте (1899). С предисловием и примечаниями Р. Н. С. [П. Б. Струве]. Печатано «Зарей». Stuttgart, 1901.

<sup>31</sup> Петергофское совещание о проекте Государственной думы под личным Его Императорского Величества председательством. Секретные протоколы. Berlin, [1905].

<sup>32</sup> Царскосельские совещания. Протоколы Секретного совещания в апреле 1906 г. под председательством бывшего императора по пересмотру Основных законов // Былое. 1917. № 4. С. 183–245.

<sup>33</sup> Маклаков В. А. Из прошлого // Современные записки. 1929. Кн. 38. С. 276–314.

<sup>34</sup> Он же. Из прошлого // Современные записки. 1929. Кн. 40. С. 291–332.

<sup>35</sup> Милуков П. Н. Кающийся кадет // Последние новости. 1929. 22 марта. С. 1.

<sup>36</sup> Политика в «Современных записках» // Последние новости. 1929. 4 апр.; Политика в «Современных записках» // Последние новости. 1930. № 3394, 3396. 8, 10 июля; Публицистика в «Современных записках» (т. XLV – XLVI) // Последние новости. 1931. № 3767. 16 июля; «Современные записки», книга 56-я. Отдел политический // Последние новости 1934. № 4991. 22 нояб.; Русские «либералы» и заем 1906 г. // Последние новости 1936. № 5460. 5 марта.

<sup>37</sup> Суд над кадетским «либерализмом» // Современные записки. 1930. Кн. 41. С. 347–371; Либерализм, радикализм и революция // Современные записки. 1935. № 57. С. 285–315.

Позднее, подчеркивая, что «признавать верность идей не значит одобрять все действия тех, кто им хочет служить», В. А. Маклаков так отвечал на обвинения П. Н. Милюкова в измене либеральным идеям: «Идеи были и правильны, и своевременны, но представители их в то минувшее время им служить не сумели. Обвинять тех, кто действия их критикует, в измене самим идеям, – значит уподобляться ученому, который в возражениях себе усмотрел бы неуважение к самой науке. <...> Искусство “политика” оценивается по результатам, а не по верности политической “грамматике”. Если защитники либерализма допускали ошибки, то почему может быть вредно их показать?»<sup>38</sup> Не изменял Маклаков и освободительному движению конца XIX – начала XX в., воспринимая его, однако, в ретроспективе, с учетом исторического опыта, а потому много сложнее, нежели Милюков.

В. А. Маклаков писал В. В. Шульгину 3 декабря 1929 г.: «Освободительное движение было неизбежно и было полезно для России, и ругать его я не могу; но оно же было и несчастьем для России, ибо все позднейшие беды заложены были именно в нем. Если пользоваться банальным сравнением, то я бы сказал, что эта операция была совершенно необходимой, потому что больного не лечили вовремя, но хотя эта операция больного спасла, но его оставила все-таки калеккой. Такая точка зрения, конечно, никому не понравится, что хуже, немногие ее даже поймут; а между тем, я думаю, что когда мы отойдем на большую дистанцию, то о нашей эпохе будут судить именно так...»<sup>39</sup>. Очевидно, В. А. Маклакову, в отличие от П. Н. Милюкова, было свойственно менее политизированное и более нейтральное восприятие истории освободительного движения, что отразилось на содержании десяти статей и 24 глав воспоминаний «Из прошлого», которые как раз и имели подзаголовок «Освободительное движение»<sup>40</sup>. За ними следуют две статьи и три главы с подзаголовком «Первая революция»<sup>41</sup>, одна статья, посвященная земскому движению 1905–1917 гг.<sup>42</sup>, и другая, по поводу легенды о «кадетском противостоянии» займу 1906 г.<sup>43</sup> На этом публикация воспоминаний «Из прошлого», длившаяся семь лет, с 1929 по 1936 г., и занявшая 16 книг и около 400 страниц «Современных записок», прекратилась. Это объяснялось тем, что именно в 1936 г. вышли в свет выросшие из книги «Из прошлого» воспоминания Маклакова «Власть и общественность на закате старой России», ставшие приложением к журналу «Иллюстрированная Россия».

Первоначально В. А. Маклаков хотел опубликовать мемуары отдельно в издательстве «Современных записок», тем более что именно там в 1929 г. он напечатал две свои речи о графе Л. Н. Толстом<sup>44</sup>, ранее появившиеся в журнале «Современные записки»<sup>45</sup>. Подразумевая «статьи» «Из прошлого», В. А. Маклаков 3 декабря 1929 г. выражал В. В. Шульгину надежду, что «Современные записки» «сделают то, чем грозятся, т. е. выпустят их отдельной книгой»<sup>46</sup>. «Грозиться» этим журнал стал уже в том томе, в котором появилась первая статья «Из прошлого», то есть в томе 38 за 1929 г. «Книгоиздательство Библиотека “Современных записок”, помимо выпущенной книги Т. И. Полнера: “Л. Толстой и его жена”, – читаем на рекламной странице данного тома, – печатает и готовит к печати следующие книги: ... В.

<sup>38</sup> Маклаков В. А. Первая Государственная дума: воспоминания современника. 27 апреля – 8 июля 1906 г. М., 2006. С. 6–7.

<sup>39</sup> Спор о России. С. 360.

<sup>40</sup> Маклаков В. А. Из прошлого. Освободительное движение. [Главы I – XXIV] // Современные записки. 1930. Кн. 41. С. 232–275; Кн. 42. С. 268–291; Кн. 43. С. 288–310; Кн. 44. С. 423–447; 1931. Кн. 46. С. 263–286; Кн. 47. С. 322–351; 1932. Кн. 48. С. 346–377; Кн. 50. С. 271–287; 1933. Кн. 51. С. 228–250; Кн. 53. С. 251–277.

<sup>41</sup> Из прошлого. Первая революция. [Глава I – III] // Современные записки. 1934. Кн. 54. С. 317–340; Кн. 56. С. 238–256.

<sup>42</sup> Из прошлого. [Настроения земства, 1905–1917 гг.] // Современные записки. 1935. Кн. 58. С. 258–273.

<sup>43</sup> Из прошлого. [О легенде «кадетского противостояния» займу 1906 г.] // Современные записки. 1936. Кн. 60. С. 263–275.

<sup>44</sup> Маклаков В. А. О Льве Толстом. Две речи. Париж: Изд-во «Современные записки», 1929.

<sup>45</sup> Маклаков В. А. Лев Толстой: (Учение и жизнь) // Современные записки. 1928. Кн. 36. С. 220–263; *Он же*. Толстой как мировое явление (Речь, произнесенная в Праге 15 ноября 1928 г. на праздновании юбилея Л. Толстого) // Современные записки. 1929. Кн. 38. С. 224–245.

<sup>46</sup> Спор о России. С. 360.

А. Маклаков: Из прошлого»<sup>47</sup>. О том, что в Издательстве «Современные записки» «готовятся к печати», помимо прочего, и «В. А. Маклаков: Из прошлого», сообщается на той же странице в 1929 г. в книгах 39 и 40<sup>48</sup>. Наконец, информация, согласно которой в Издательстве «Современные записки» «готовятся к печати» «В. А. Маклаков: Из прошлого» и заказы на эти воспоминания «принимаются в конторе издательства», размещалась на рекламной странице журнала «Современные записки» в следующие четыре года<sup>49</sup>. Многолетняя задержка с публикацией отдельного издания воспоминаний «Из прошлого» объяснялась тем, что редакция «Современных записок» намеревалась напечатать не уже законченные мемуары, а мемуары, которые еще только создавались.

Хотя консервативный либерализм и правокадетский дух текстов В. А. Маклакова вызывали неприятие у коллег И. И. Фондаминского по редакции, прежде всего у М. В. Вишняка, поскольку все они являлись консервативными социалистами и правыми эсерами<sup>50</sup>, тем не менее все члены редакции были едины в желании того, чтобы Маклаков как можно быстрее закончил свои воспоминания. Показательно, что, как бы подгоняя медлительного мемуариста, редакция разместила в 1930 г. на рекламной странице книги 41 «Современных записок» такую информацию: «В текущем 1930 году в журнале “Современные записки” будут напечатаны» в том числе и «В. А. Маклаков: Из прошлого»<sup>51</sup>. Но, конечно, главным союзником Маклакова в деле подготовки отдельного издания его воспоминаний оставался Фондаминский, который, имея в виду мемуарные «статьи» Маклакова, писал ему 19 января 1931 г.: «...важно, чтобы они были напечатаны целиком в отдельном издании»<sup>52</sup>. «Книгу, – сообщал Фондаминский 5 мая того же года, – обязательно выпустим (набор сохраняется). Надеюсь, что она себя окупит – в крайнем случае придется достать маленькую сумму (книга [М. И.] Ростовцева издана очень удачно – не хватило всего 1000 фр.<sup>53</sup>). Наше издательство процветает – уже выпустили 25 книг, а готовим к печати еще десятки. Надеюсь скоро встретиться с Вами в Париже (в половине июня) – тогда обо всем подробно переговорим»<sup>54</sup>. Через два года, 23 марта 1933 г., Фондаминский продолжал уверять Маклакова: «Разумеется, мы хотим издать Вашу книгу. Весь вопрос только в том, найдем ли мы складчика, который согласится оплатить типографию – в последнее время они боятся брать на себя весь риск и требуют, чтобы автор брал на себя часть расходов. Об этом мы поговорим при свидании»<sup>55</sup>. Вопрос, однако, заключался еще и в том, когда же Маклаков закончит свои мемуары.

Окончание работы В. А. Маклакова над воспоминаниями стало намечаться почти через полтора года, 1 июля 1934 г. он сообщал И. И. Фондаминскому: «С тех пор, как зимой Вы говорили мне про книгу, я стал к этому готовиться и поневоле увлекся. В результате книга будет готова к осени; мне остается только первая глава, которую я напишу во время вакантов. Она вся радикально переделана в связи с тем, что печаталось; до такой степени, что пользоваться печатным текстом для набора придется только на 20 или 30 страницах; все остальное написано вновь. Прибавлены две главы: о моем студенчестве и та первая глава, которую еще не написал,

<sup>47</sup> Современные записки. 1929. Кн. 38. С. 557.

<sup>48</sup> Современные записки. 1929. Кн. 39. С. 559; Кн. 40. С. 559.

<sup>49</sup> Современные записки. 1930. Кн. 42. С. 551; Кн. 43. С. 543; 1932. Кн. 49. С. 481; 1933. Кн. 51. С. 481; Кн. 52. С. 481; 1934. Кн. 54. С. 481; Кн. 56. С. 447.

<sup>50</sup> Подробнее об этом см.: Будницкий О. В. В. А. Маклаков и журнал «Современные записки».

<sup>51</sup> Современные записки. 1930. Кн. 41. С. 559.

<sup>52</sup> «Современные записки» (Париж, 1920–1940): Из архива редакции. Т. 4. С. 165–166.

<sup>53</sup> Имеется в виду следующее издание: Ростовцев М. И. О Ближнем Востоке. Париж: Изд – во «Современные записки», 1931.

<sup>54</sup> «Современные записки» (Париж, 1920–1940): Из архива редакции / Под ред. О. Коростелева и М. Шрубы. М., 2014. Т. 4. С. 170.

<sup>55</sup> Там же. С. 189.

где я буду говорить о своих юношеских наблюдениях над старшим поколением; в нее войдут и воспоминания о Любенкове и Голохвастове и еще много другого»<sup>56</sup>. Необходимо уточнить, что к этому времени Маклаков частично опубликовал воспоминания как о пребывании в Московском университете, так и о Л. В. Любенкове и П. Д. Голохвастове<sup>57</sup>, то есть о тех московских общественных деятелях, с которыми он общался в молодости.

«Вся эта книга, – продолжал В. А. Маклаков в письме И. И. Фондаминскому, – будет объединена одной мыслью и для меня в этом ее интерес. Доходит время до 1-й Государственной думы, но последняя глава посвящена оценке нашей конституции [1]906 г. Теперь вот что: если “Современные записки” будут выходить, то у меня готово и написано книжек на 6. Поэтому я дожидаться с этим не хочу; если возможность издания отдельной книжки осуществится, то я это сейчас сделаю, а если окажется, что, несмотря на неблагоприятные внешние условия, книжка может разойтись, то я, может быть, напишу и 2-ю [книжку], начиная с 1-й Думы до войны, под заглавием “Россия при конституции”. А затем уже наверное же напишу третью, начиная с войны и кончая изгнанием. Но я могу ее не писать, из первых двух книжек будет ясно и то, что произошло, и как я к этому отношусь. И во всем том, что я делал, Вы виноваты, но я Вас не виню; но зато серьезно прошу Вас подумать, есть ли какие-нибудь шансы такую книжку издать, ибо если нет, то я все-таки же напишу первую главу, предоставив издать все это уже после моей смерти, на писание этой главы не буду тратить летнего отдыха. Скажите же мне по всему этому Ваше мнение»<sup>58</sup>.

«Книгу Вашу, – отвечал И. И. Фондаминский В. А. Маклакову 12 августа 1934 г., – насколько я могу судить по зимним переговорам, издать можно, в особенности, если Вы согласитесь часть расходов взять на себя (в надежде, что эти расходы покроются продажей). Для того, чтобы дать Вам ответ, я должен буду вступить в переписку со “складчиками” (издание будет “Соврем[енных] записок”). Но прежде чем сделать это, я хотел бы получить от Вас ответ на два вопроса: 1) количество знаков (Вы знаете, что их надо считать с промежутками между словами – в этих скобках 63 знака) в Вашей книге; 2) согласны ли Вы внести на издание сумму не больше 3 тыс. франков. На второй вопрос Вы можете ответить откровенно, ибо я буду защищать Ваши интересы до конца. Буду стараться, чтобы Вам не пришлось вносить ни сантима. А если это не удастся, буду отстаивать каждый франк. Разумеется, я не подпишу соглашения, не сообщив Вам условий и не получив Вашего согласия. Цифру 3 т[ыс]. я называю, исходя из того, что в книге 20 листов (формата “Совр[еменных] зап[исок]”) – в таком случае это максимальная цифра. До получения от Вас ответа я вступать в переписку со складчиками не буду, тем более что сейчас “каникулы”. Очень горжусь тем, что по моей “вине” Вы написали книгу, и рад буду все сделать, чтобы она вышла в свет»<sup>59</sup>.

На письмо И. И. Фондаминского В. А. Маклаков ответил собственноручно, по причине чего остался совершенно непонят своим корреспондентом, который сообщил ему об этом 21 октября 1934 г. из Граса, и 2 ноября 1934 г. Маклаков написал Фондаминскому из Парижа, на этот раз – на пишущей машинке: «Я затрудняюсь сказать, сколько в моей книге будет листов, так как, написав новые главы, вижу, что кое-что приходится переделывать в следующих, в смысле сокращения, и эту работу я не кончу раньше Рождества. Следовательно, пока бы я мог сказать только очень приблизительно. Кроме того, повторю то, что писал в не разобранном Вами письме. Я удивился, когда узнал, что хотят издавать “Современные записки”; я думал, что Вы издательством больше не занимаетесь. Но тут меня смущает одно: в какой мере и здесь будут действовать политико-цензурные условия. А затем очень жалею, если Вы сюда

<sup>56</sup> Там же. С. 197.

<sup>57</sup> Отрывки из воспоминаний // Московский университет, 1755–1930: Юбилейный сборник. С. 294–318; Люди московские // Сегодня. 1930. № 12. 12 янв.

<sup>58</sup> «Современные записки» (Париж, 1920–1940): Из архива редакции. Т. 4. С. 197.

<sup>59</sup> Там же. С. 198.

не приедете. Я хотел бы не только с Вами обо многом поговорить, но и дать Вам кое-что прочесть в том, что уже готово. Вам будет ясен общий характер книги»<sup>60</sup>. Следовательно, как видно из его переписки с Фондаминским, Маклаков предполагал создать трехчастные воспоминания, посвятив их первую часть периоду от юности до 27 апреля 1906 г., то есть до открытия I Государственной думы, вторую часть – от I Думы до 19 июля 1914 г., до вступления России в Первую мировую войну, и третью – от 19 июля 1914 г. до эмиграции.

В апреле 1935 г. В. А. Маклаков сосредоточился на окончании первой части воспоминаний. «Мне хочет[ся], – сообщал он 21 апреля В. В. Рудневу, одному из редакторов «Современных записок», – до лета дописать всю первую часть, до созыва Думы»<sup>61</sup>. Однако двумя месяцами раньше на судьбу мемуаров Маклакова снова повлияло случайное, на первый взгляд, обстоятельство, связанное с тем, что еще в 1931 г. он опубликовал в журнале «Иллюстрированная Россия» отрывок из своих студенческих воспоминаний, посвященный В. О. Ключевскому<sup>62</sup>. Теперь же, 13 февраля 1935 г., Маклаков информировал Руднева: «“Иллюстр[ированная] Росси[я]” обратилась ко мне с просьбой написать статью для 20-летия смерти Витте. Мне некогда. Но я им указал, что я о нем писал в “Современных записках”»<sup>63</sup>. Они просят разрешения взять оттуда некоторые выдержки и напечатать. Я лично не имею возражен[ий]: при условии, что будет указано, что это взято у Вас, из “С[овременных] з[аписок]”. Они на это охотно идут. Но я не знаю, согласны ли Вы на это! Не только в том смысле, что Вы имеете право не соглашаться (я думаю, что через 2 года перепечат[ку] делать можно), но просто в моральном. Я сказал им, что спрошу у Вас. И прошу Вас мне ответить скорее. Я думаю, что если Вы разрешали печатать раньше, чем у Вас появит[ся], то тем более нет оснований запретить печатать *post factum*. И это – реклама. Ответьте, пожалуйста, поскорее, т. к. событие приближается»<sup>64</sup>. Искомое разрешение от Руднева Маклаков получил, и фрагмент его воспоминаний о С. Ю. Витте был напечатан в журнале в марте 1935 г.<sup>65</sup> В редакционном предисловии к этому фрагменту подчеркивалось: «Воспоминания “Из прошлого” В. А. Маклакова, печатающиеся с 1929 года в журнале “Современные записки”, представляют исключительный интерес и являются серьезным вкладом в русскую историю»<sup>66</sup>. В результате трехтомные воспоминания «Власть и общественность на закате старой России» были опубликованы в 1936 г. именно издательством «Иллюстрированной России»<sup>67</sup>.

В. А. Маклаков указывал, что из его «статей» в «Современных записках» «потом вышли три книги: “Власть и общественность”, “1-я Дума” и “2-я Дума”»<sup>68</sup>. Под «Думами» он подразумевал ставшие продолжением «Власти и общественности» свои воспоминания о I и II Государственных думах, опубликованные в 1939 и 1942<sup>69</sup> гг. «Я, – признавался Маклаков, – хотел написать о 3-й и 4-й [Думах], так как был свободен во время оккупации, но не мог найти в Париже стенографических отчетов последних двух Дум, и это желание осталось неосу-

<sup>60</sup> Там же. С. 199.

<sup>61</sup> Там же. С. 206.

<sup>62</sup> Маклаков В. А. Ключевский // Иллюстрированная Россия. 1931. № 52 (345). 19 дек. С. 6–7.

<sup>63</sup> Имеются в виду следующие публикации: Из прошлого // Современные записки. 1931. Кн. 47. С. 323–351; 1932. Кн. 48. С. 346–354.

<sup>64</sup> «Современные записки» (Париж, 1920–1940): Из архива редакции. Т. 4. С. 205.

<sup>65</sup> Граф С. Ю. Витте (Выдержки из воспоминаний В. А. Маклакова) // Иллюстрированная Россия. 1935. № 12 (594). 16 марта. С. 1–3.

<sup>66</sup> Там же. С. 1.

<sup>67</sup> Маклаков В. А. Власть и общественность на закате старой России. Воспоминания: В 3 т. Париж: Изд-во «Иллюстрированная Россия», 1936. (Библиотека «Иллюстрированной России». Кн. 23–25).

<sup>68</sup> Маклаков В. А. Воспоминания. Лидер московских кадетов о русской политике. С. 292.

<sup>69</sup> Он же. Первая Государственная дума. Воспоминания современника. Париж, 1939; Вторая Государственная дума. Воспоминания современника. Париж, 1942.

ществленным»<sup>70</sup>. Наконец, в 1954 г. Маклаков опубликовал свои последние мемуары, которые, как и его статьи, напечатанные в «Современных записках», также называются «Из прошлого»<sup>71</sup>. Однако последние мемуары вышли не из «Современных записок», а из «Власти и общественности», поскольку оттуда вобрали в себя все то, что имеет отношение к биографии Маклакова, формально полностью соответствуя жанру «воспоминаний». Следовательно, мемуары «Власть и общественность» являются главными мемуарами Маклакова не только по объему, но и по тому ключевому месту, которое они занимают в его мемуарном наследии.

Что же нового содержится в главах «Власти и общественности» по сравнению со статьями «Из прошлого»? Как соотносятся структуры и тексты двух мемуарных книг одного и того же автора? Прежде всего необходимо отметить, что статьи «Из прошлого», будучи очерками, имеют преимущественно проблемный либо проблемно-хронологический характер. В отличие от них главы «Власти и общественности», будучи именно главами, отличаются хронологическим или хронологическо-проблемным характером и в этом смысле более соответствуют жанру «воспоминаний», в меньшей степени допуская смешение жанров и находясь на стыке нескольких жанров – автобиографии, истории и публицистики. Вследствие этого мемуары «Власть и общественность» имеют четкую структуру, подчиненную хронологическому принципу: в них четыре отдела («Реакция», «Оживление», «Уступки и падение самодержавия» и «Первая революция») и 25 глав, причем в первом отделе – четыре главы, во втором – тоже четыре, в третьем – семь и в четвертом – десять (вместе с заключением). Новыми главами во «Власти и общественности» по сравнению с «Современными записками» являются три главы первого отдела (I, III и IV) и шесть глав четвертого отдела (XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV и XXV), то есть 9 из 25. Остальные 16 глав «Власти и общественности» хотя тематически и связаны с соответствующими статьями «Современных записок», однако существенно отличаются от них как по содержанию, так и по объему. Не случайно общий объем воспоминаний «Из прошлого» – около 22 а. л., «Власти и общественности» – около 25 а. л. Характер переработки В. А. Маклаковым воспоминаний «Из прошлого» при создании «Власти и общественности» был таков, что дает основания рассматривать «Из прошлого» и «Власть и общественность...» как два самостоятельных произведения.

Сразу после выхода в свет «Власти и общественности» П. Н. Милюков немедленно напечатал рецензию, естественно, крайне критическую по отношению и к воспоминаниям, и к их автору<sup>72</sup>. Вместе с тем даже такой политический оппонент В. А. Маклакова, как А. Ф. Керенский, посвятил книге более взвешенную рецензию, в которой, в частности, соглашался с положительной оценкой, данной Маклаковым Основным государственным законам 1906 г. «Маклаков же, – писал в этой рецензии Керенский, – вспоминая теперь, через тридцать лет! – как в годы освободительного движения либеральная общественность беспомощно металась между двумя единственными “реальными силами” – властью и Ахеронтом, приходит к неожиданному выводу: конституция “пришла слишком рано”. Уже потому не рано, что сам В. А. Маклаков убедительно доказывает, как эта пришедшая “слишком рано”, осмеянная всеми левыми и ненавидимая правыми конституция 1906 года, за самый короткий срок своего предвоенного существования (8 лет) совершенно преобразила Россию, перестроила и хозяйственный, и политический быт Империи»<sup>73</sup>.

Мемуары В. А. Маклакова обратили на себя пристальное внимание и посетителей салона Э. Пети, в частности М. А. Алданова, которому Маклаков писал 22 мая 1937 г. после общения в этом салоне: «Вы предполагаете, что я переменился, и интересуетесь знать, до какой

<sup>70</sup> Он же. Воспоминания. Лидер московских кадетов о русской политике. С. 292.

<sup>71</sup> Он же. Из прошлого. Нью-Йорк: Изд. – во имени А. П. Чехова, 1954.

<sup>72</sup> Милюков П. Н. В. А. Маклаков между «общественностью» и властью // Последние новости. 1937. № 6640, 6642. 28, 30 мая.

<sup>73</sup> Керенский А. Ф. Незадача русского либерализма // Современные записки. 1937. Кн. 63. С. 320.

степени. За это предположение говорит и видимость, и, если позволите сказать, общее мнение. Но я по совести думаю, что это ошибка и что Вы были гораздо ближе к истине, когда в первой половине обмолвились фразой “да и принадлежал ли он к левому лагерю”. Я всегда сознавал необходимость обоих принципов, которые составляют государственную антиномию и которые для краткости обозначу Вашими терминами “права человека и империи”. <...> Освободительное движение, I-ая Дума, [19]17-ый год – это все примеры того, что делают права человека, если они забудут об империи. <...> Если все дело в степени культуры в широком смысле этого слова, то она достигается только медленным воспитанием, известными навыками, а не насилиями и приказами. Тут еще больше нужно знать, что возможно, а не только то, что нужно и что желательно. <...> Эти несложные мысли составляют то, что Вы называете “золотым фондом”; они у меня остались и теперь, как были тогда, даже в студенческую пору. Меняться, пожалуй, могло только одно: понимание фактической обстановки [и] степени нашей некультурности и неподготовленности. Но можете ли Вы сказать, что доктор изменил свои взгляды и понимания, если он считает организм больного более слабым, чем считал его раньше. Все мои нападки на общественных деятелей либо характера тактического, ибо они преследовали не la politique du succès [политику успеха (*фр.*)], или иногда программного, ибо в защите прав человека они доходили до забвения прав империи. И в моей книге напрасно было бы искать чего-нибудь другого; принципиального характера она поэтому не носит»<sup>74</sup>.

Несмотря на скромную оценку, данную В. А. Маклаковым «Власти и общественности», именно концепции, обоснованные им в главных мемуарах, воздействовали на западную историографию русского либерализма и конституционализма конца XIX – начала XX в. В 1985 г. К. Ф. Шацилло приходил к резонному выводу, что «теория» Маклакова «оказала заметное влияние на современную англо-американскую литературу»<sup>75</sup>. «Концепция Маклакова, – по наблюдениям О. В. Будницкого, – повлияла и на авторов исторических трудов, и на писателей, пытавшихся осмыслить исторический путь России. Назову некогда очень популярную “Историю либерализма в России” В. Леонтовича<sup>76</sup> и, конечно, “Красное колесо” А. И. Солженицына»<sup>77</sup>. Не менее заметное влияние «Власть и общественность» оказала и на постсоветскую историографию, хотя ее представители не всегда ссылаются на концептуальный приоритет Маклакова. Если его воспоминания о I и II Государственных думах и последние мемуары<sup>78</sup> в России уже переиздавались, то из «Власти и общественности» публиковались только небольшие отрывки<sup>79</sup>.

В эмиграции в полную силу раскрылся талант В. А. Маклакова-мемуариста, и там он опубликовал около трех десятков статей и книг, посвященных воспоминаниям и размышлениям о дореволюционной России, ее повседневной, общественной и политической жизни. Маклаков заслуженно снискал себе славу одного из лучших мемуаристов первой волны русской эмиграции, который не только мастерски описывал деятелей и события прошлого, но и глубоко и тонко анализировал их как историк своего времени. Однако самые масштабные мемуары Маклакова до сих пор не переиздавались в России и впервые предлагаются вниманию россий-

<sup>74</sup> «Права человека и империи». С. 52.

<sup>75</sup> Шацилло К. Ф. Русский либерализм накануне революции 1905–1907 гг.: организация, программа, тактика. М., 1985. С. 9.

<sup>76</sup> См.: Leontovitch V. Geschichte des Liberalismus in Russland. Frankfurt am Main: V. Klostermann, 1957. Первый русский перевод – Париж, 1980, первый французский перевод – там же, 1987. См. также: Леонтович В. В. История либерализма в России (1762–1914). М., 1995.

<sup>77</sup> Будницкий О. В. В. А. Маклаков и журнал «Современные записки». С. 231.

<sup>78</sup> Первая Государственная дума. Воспоминания современника. 27 апреля – 8 июля 1906 г. М., 2006; Вторая Государственная дума. Воспоминания современника. 20 февраля – 2 июня 1907 г. М., 2006; Воспоминания. Лидер московских кадетов о русской политике. 1880–1917. М., 2006.

<sup>79</sup> Старшие // Литература русского зарубежья: антология. М., 1991. Т. 2. С. 334–352; Власть и общественность на закате старой России (Воспоминания современника) // Российские либералы: кадеты и октябристы: документы, воспоминания, публицистика. М., 1996. С. 229–265.

ских читателей. В связи с этим хочется поблагодарить внутреннего и внешнего рецензентов докторов исторических наук И. В. Лукьянова и К. А. Соловьева, коллег по Отделу Новой истории России Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, которые участвовали в обсуждении данной публикации, и лично Карину Проничеву – за помощь, оказанную при редактировании переводов с французского языка.

*С. В. Куликов*

## Отдел первый. Реакция

### Глава I. Юность моего поколения

Детством и юностью мое поколение принадлежало к эпохе Александра III. Ее принято считать эпохой застоя. Сами мы этого могли не заметить; детям все кажется нормальным. Для оценки необходимо сравнение, а у нас его не было. Но мы ему учились у старших. Они при нас говорили, в какое неинтересное время нам приходится жить. Так всегда бывает с поколением, которое приходит на смену после ярких, бурных эпох. Такой эпохой были *шестидесятые* годы. Все еще было полно воспоминаниями о них. Ни у кого не могло быть безразличного к ним отношения. Одни говорили о них с восхищением, возмущаясь всякою критикой; другие – с насмешкой и злобой. Такое же отношение сейчас к 1917<sup>80</sup> году. Такое же долго было к Французской революции. Удел ярких людей и ярких эпох, что к ним трудно быть справедливым.

Молодежь моего времени росла среди таких настроений и их отражала как в увеличительном зеркале. Среди нее тоже одни смеялись над увлечением шестидесятых годов, другие по ним тосковали. И потому, что сами их не видали, их идеализировали; шестидесятые годы стали для нашего поколения «легендой», какой весь XIX век пробыла Французская революция. Идеи шестидесятых годов, свобода, законность и самоуправление не были еще ничем омрачены. Правительственный нажим одних ломит, а в других воспитывает заклятых врагов себе. Так было в 1830-х и в 1840-х годах при Николае I. Те, кто тогда не был сломлен, в самодержавии видели одно только зло, а в революционных переворотах – светлое и завидное время. То же продолжалось и с нами, но в наше политическое настроение вошло два новых фактора. Мы знали, что недавняя эра либеральных реформ была открыта *самодержавием*; поэтому такого беспощадного отрицания, как в 1840-х годах, у нас к нему быть не могло. А во-вторых, реакция 1870-х и 1880-х годов нам показала силу самодержавия. «Революция» и «конституция» оказались мечтой, не реальностью. Никакого выхода из нашего упадочного времени мы не видели.

Старшие, даже самые либеральные, в этом *скептицизме* нас укрепляли. Полные воспоминаний о прошлом, в *будущем* они ничего не видели, как теперь его плохо видят побежденные деятели 1917 года. Они нас только дразнили своими восхвалениями прошлого. Они делали этим полезное дело, но выхода *для нас* не давали и удивились бы, если бы мы о нем *их* спросили. Помню одного из типичных представителей этого настроения Г. А. Джаншиева. Он свою популярность – а кто его не знал? – приобрел своим поклонением «эпохе Великих реформ»<sup>81</sup>. Этот болезненный, горбатый армянин, с умными и грустными глазами, трубил этим годам славу повсюду и как средневековый паладин бросался на всех, кто недостаточно благоговел перед ними. Его за это любили – и, верный признак, – сочинения его нарасхват раскупали.

В этом была его заслуга, но большего он сделать не мог. Никто достойного выхода, который мог бы увлечь, тогда не видал. Исчезло все – и либеральное самодержавие Александра II, и либеральные государственные люди, и «подпольная» революция, и признаки того общего

---

<sup>80</sup> Маклаков указывает, как правило, три или две последние цифры года. Далее одна или две первые цифры добавлены без дополнительных указаний.

<sup>81</sup> Великие реформы – преобразования, совершенные в царствование Александра II и способствовавшие модернизации Российской империи: освобождение крепостных крестьян (1861), создание земского (1864) и городского (1870) самоуправления, судебная реформа (1864), введение нового университетского устава (1863) и всеобщей воинской повинности (1874). Г. А. Джаншиев получил широкую известность благодаря своей книге «Из эпохи Великих реформ: исторические справки» (М., 1892), которая под названием «Эпоха Великих реформ: исторические справки» и со значительными дополнениями выдержала 10 изданий (последнее: СПб., 1907). См. также: *Джаншиев Г. А. Эпоха великих реформ*: В 2 т. М., 2008.

недовольства, из которых рождаются *народные* революции; все было задушено или замерло на наших глазах. Однажды я уже студентом говорил об этом с Г. Джаншиевым. Он утверждал о «достоинстве побежденных» и процитировал стихотворение неизвестного мне автора<sup>82</sup>, из которого в моей памяти сохранились четыре стиха:

Но если в беде, в унижение тупом  
Мы силу души сохранили,  
Но если мы, павши, проклятье вам шлем,  
Ужель *вы* тогда победили?

Вот все, что оставалось на долю побежденного Джаншиева. Не в таких ли бесплодных проклятиях заключается и современный нам «активизм»<sup>83</sup>?

Джаншиев был не один, который так смотрел на время, когда нам приходилось начинать сознательно жить и работать. Помню его юбилей: он исключил из него личный характер; не хотел его превратить в свое восхваление<sup>84</sup>. На банкете он сам произнес первое слово в память эпохи, прославлению которой посвятил свою жизнь. Это дало тон дальнейшим речам. В качестве молодого адвоката я говорил о Джаншиеве как «поэте и певце» 1860-х годов, который дал возможность и нашему поколению переживать то, чего мы сами *не видели*. К. А. Тимирязев эти слова подхватил и свидетельствовал об исключительном счастье *своего* поколения, «личная весна которого совпала с весной русской государственной жизни». Он жалел нас, которые «обновления России» не видели и не увидят. Судьба сделала, что много позднее К. А. Тимирязев признал *большевизм* таким обновлением. Была ли это только «ирония» его личной судьбы, или в этом есть скрытая правда, можно будет сказать очень нескоро. Но *тогда* взгляд его на будущее был безнадежен.

Те, кто тогда нас жалел, не подозревали, *что* придется нам переживать и пережить. «Непобедимое» самодержавие на наших глазах стало шататься, уступать и наконец рухнуло. Мы пережили короткую полосу «конституции» и дождались наконец *подлинной* революции<sup>85</sup>. В сказках иногда феи дают все, о чем дети мечтают, чтобы суровой действительностью их отучить от мечтаний. Жизнь оказалась для нас такой феей.

Но и на этом она не остановилась. Мы дожили теперь до эпохи, когда даже те начала европейской цивилизации, о которых мы для России мечтали, в Европе потеряли свое обаяние. По мере того как они – свобода личности, демократия, народоправство и т. д. – становились бесспорными основами жизни, они стали обнаруживать оборотные стороны. Война это обострила до состояния «кризиса». Кто его теперь отрицает? Можно предсказывать ему разный исход и разную продолжительность, но отрицать самый кризис уже не приходится. Необходимый социальный перелом не умеют представить в путях демократической *эволюции*. От народного представительства моральная сила отходит. Появились «диктаторы» и «вожди». Эту новую для Европы тенденцию разделяют и те, кто защищает *старый* социальный порядок, и те, кто его хочет *разрушить*. Политические диктатуры прекрасно совмещаются с социальным новаторством. Маятник истории пошел в обратную сторону. В силу демократии больше не верят; кризис оказался ей не по плечу. В этой атмосфере мы естественно дожили и до реабилитации *большевизма*.

---

<sup>82</sup> Далее цитируется стихотворение А. Н. Апухтина «Ниобея (Заимствовано из “Метаморфоз” Овидия)» (1867), впервые напечатанное в № 2 «Русской мысли» за 1885 г.

<sup>83</sup> Эмигрантское движение, которое декларировало своей целью активную борьбу с большевизмом. Подробнее см.: *Антропов О. К. Политический активизм русской эмиграции 1920–1940-х гг.* Астрахань, 2016.

<sup>84</sup> Имеется в виду 25-летие литературной деятельности Г. А. Джаншиева, которое отмечалось в 1899 г.

<sup>85</sup> Под «конституцией» подразумеваются Основные государственные законы 23 апреля 1906 г., под «революцией» – Февральская революция 1917 г.

Когда он появился в России на смену мертворожденного порядка, созданного Февральской революцией, ему приписали педагогическую роль «пьяных илотов»<sup>86</sup>. Это так могло быть без *европейского* кризиса. Когда же Европа его ощутила, в русском большевизме она увидела вестника «нового слова». Его дикие проявления приписали русской отсталости, но его существо, презрение к человеку, индивидуальным правам, культ всемогущества власти подошли к теперешней идеологии «перманентной» гражданской войны.

Это естественнее, чем могло сначала казаться. Коммунизм предназначался не для России. Он был зачат в среде свободных политических стран, с законченным капитализмом. Он был попыткой разрешить *для них* социальный вопрос. Нам можно не знать, действительно ли капиталистический строй стал в них помехой дальнейшей эволюции общества, наступил ли капитализму конец или настоящий кризис есть преходящее затруднение, из которого выведет время? Для России этого вопроса не существовало; коммунистического лечения *ей* не было нужно. Россия была еще отсталой страной, в которой для коммунизма не было никаких предпосылок. Напротив. Идеи, которые оказались уже бессильны в Европе, были еще совершенно необходимы для подъема первобытной России. Освобождение или, как картинно выражались у нас, «раскрепощение» человека и общества, защита *личности* и ее прав *против власти*, обеспечение за каждым его приобретенных прав было тем, чего до тех пор не хватало России. Всякий раз, когда эти начала в ней частично осуществлялись, начиналось ее быстрое оживление и подъем. Так было в 1860-х годах, потом в эпоху эфемерной конституции 1906 года<sup>87</sup>, так было бы и после Февральской революции 1917 года, если бы полное самоуправление не оказалось непосильным для не воспитанного политически общества. Нельзя было, как тогда вообразили, вести прежнюю войну<sup>88</sup> и переустраивать Россию на новых началах, заставлять войско воевать и подрывать понятие о дисциплине. Реализм большевиков сказался в том, что после шестимесячного разложения власти они вновь ее создали, на старых самодержавных началах, даже с суррогатом привычной «монархии», используя для этого всю нашу отсталость и привычки старого рабства. Но воссоздав реальную власть, большевизм вместо того, чтобы завершить раскрепощение общества, принялся калечить Россию во имя борьбы с капиталом, с буржуями и личной свободой. Благодаря этому он явился для Запада интересным предвестником «управляемой экономии». Но для России эта программа была шагом назад и насильственным разорением. «Управляемая экономия» в России не удалась не потому, что для нее не было «кадров», что администрация была невежественна, недобросовестна и продажна; а потому, что *никакой надобности* в ней пока не было. России было нужно проходить стадию естественной капиталистической эволюции. Для нее прогресс был еще в *этом*. Примеры более опытных стран могли нам помочь избежать ее крайностей, но не могли нас избавить от *этой стадии*, от необходимости пройти ее долгую школу. Самодеятельность была России нужна, как молодому организму движение. Недаром всякое отступление от коммунизма тотчас давало в большевистской России благоприятные результаты. Ничтожная доля экономической свободы в эпоху эфемерного НЭПа<sup>89</sup> дала недолгую иллюзию выздоровления. Всякая страна страдает от нововведений, если они пришли слишком рано. Это бывало в старину с отсталой Россией; это же готовили ей либеральные реформаторы 1905 года, когда собирались наградить ее Учредительным собранием, парламентаризмом и четыреххвосткой<sup>90</sup>. Но ни одно прежде-

<sup>86</sup> Илоты – земледельцы, находившиеся в подчинении у Спартанского государства и занимавшие промежуточное положение между рабами и крепостными. Спартанцы заставляли илотов напиваться, чтобы продемонстрировать подрастающему поколению, насколько отвратительно пьянство.

<sup>87</sup> Имеются в виду Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.

<sup>88</sup> Подразумевается Первая мировая война 1914–1918 гг.

<sup>89</sup> НЭП – новая экономическая политика, проводившаяся советским правительством в первой половине 1920-х гг. и содержащая в себе элементы рыночных отношений.

<sup>90</sup> Четыреххвосткой на политическом жаргоне начала XX в. называлось всеобщее, прямое, равное и тайное голосование.

временное «новое слово» не причинило ей столько вреда, как большевизм. Он сбил Россию с настоящей дороги и надолго разрушил в ней то, что в ней естественным путем росло ценного и здорового.

Потому признание большевизма Европой для нас не поучительно. Оно дает лишь цену ее собственной прозорливости. Европейский кризис в *наших* глазах не реабилитирует большевизма. Но зато заставляет нас пересмотреть теперь наше старое отношение к *русскому* самодержавию.

Для моего поколения проблема «самодержавия» оказалась в центре политической мысли. Мы начинали сознательно жить, когда самодержавие себя утвердило и как будто навсегда укрепилось. И при нас же, в зрелые годы, борьба с ним стала *все покрывающим лозунгом*, отодвинула на задний план все остальное. Оно было обречено всеми и бесповоротно. Но теперешняя идеология фашизма и диктатур реабилитирует самодержавие. Ведь и оно защищало полноту своей власти не для себя, а для того, чтобы ею служить интересам народа, всех состояний, классов и рас, не завися от обладателей привилегий.

Действительность обыкновенно далека от идеала. Но 1860-е годы потому и оставили такой след в душе и в истории, что самодержавие тогда показало себя на высоте такого призвания. Правда, задача, которая тогда стояла пред ним, была легче тех, которые после войны<sup>91</sup> возникли перед старой цивилизацией. В 1860-е годы России было достаточно идти по проторенным путям, по которым раньше победоносно пошли европейские демократии. Но ведь и для того, чтобы в 1860-х годах поставить Россию на *эту* дорогу, *нужно* было *самодержавие*. Тогдашний правящий класс этих реформ не хотел. Самодержавная власть провела их против него и в Государственном совете утверждала мнение его *меньшинства*<sup>92</sup>. Самодержавие было нужно, чтобы мирным путем эгоистичное сопротивление дворянства сломить. А если правда при этом, что сам Александр II по своим взглядам этих реформ не хотел и был вынужден к ним потому, что боялся движения снизу, то это есть идейное оправдание *самодержавия*. Его было бы нельзя защищать, если бы политика его зависела только от личных симпатий самого самодержца. Идеологи самодержавия всегда утверждали, что его программа определялась не личным капризом монарха, а объективной необходимостью, что самодержавие не может быть глухо к народным желанием из одного чувства самосохранения, которое неотъемлемо от самодержца. Если Александр II действительно сумел сломить не только крепостнический класс, но и свои личные предубеждения, то в глазах объективных людей он этим не подорвал, а *укрепил* принцип самодержавия! И шестидесятые годы, которые превозносили либерализм, были торжеством не только *его* представителей; они были и торжеством *самодержавия*.

В этом, быть может, и было больше всего обаяния 1860-х годов. Народолюбцы, отдавшие тогда себя на служение родному народу, могли не истощать своих сил в борьбе *против* власти. «Что можно противопоставить, – писал Герцен, – когда вместе “власть и свобода”, образованное меньшинство и народ, *царская воля и общественное мнение?*»<sup>93</sup> Это – идеология самодержавия. Современные фашистские диктатуры стоят на той же позиции, и их сила в поддержке их

<sup>91</sup> Речь идет о Первой мировой войне 1914–1918 гг.

<sup>92</sup> Государственный совет (старый, дореформенный) – высшее законосовещательное учреждение Российской империи, созданное 1 января 1810 г., в компетенцию которого входили все вопросы, требовавшие издания нового закона, устава или учреждения, отмены, ограничения, дополнения или пояснения прежних узаконений; общие распоряжения по исполнению существовавших законов, уставов и учреждений; принятие общих внутривластных мер в случае чрезвычайных обстоятельств, объявление войны и другие важнейшие внешнеполитические меры. Был преобразован в верхнюю палату российского парламента 20 февраля 1906 г.

<sup>93</sup> Ср.: «Гнилое, своекорыстное, дикое, алчное противодействие закоснелых помещиков, их волчий вой – не опасен. Что они могут противопоставить, когда против них *власть и свобода*, образованное меньшинство и весь народ, царская воля и общественное мнение?» (Герцен А. И. Через три года (18 февраля 1858 года) // Колокол. 1858. Лист 9. 15 февр. С. 67).

народными массами. Но и эти диктатуры потеряют свой *raison d'être*<sup>94</sup>, когда они своей непосредственной цели достигнут. Ни диктатура, ни самодержавие не есть *нормальный* порядок, и в эпохи *мирного*, т. е. здорового, развития они вырождаются.

\* \* \*

Нашему поколению пришлось воочию увидеть, как миновала героическая пора самодержавия; после «Великих реформ» началась борьба самодержавия с обществом, и победа самодержавия сделалась началом его собственной гибели.

Творческий подъем самодержавия 1860-х годов и первое недовольство им в 1870-х стоят за пределами моих личных воспоминаний. Я смутно припоминаю последние годы Александра II; турецкую войну<sup>95</sup>, турецких пленных на улицах, обед в манеже в честь вернувшихся солдат в присутствии Государя, которого я увидал тогда в первый и последний раз в своей жизни; благодарственные молебны после покушения<sup>96</sup>, которые сделались «бытовым явлением» этого времени, и оцепенение 1 марта<sup>97</sup>. Больше всего мне запомнилось чтение в церкви Манифеста 29 апреля 1881 года о самодержавии<sup>98</sup>. После службы пришли сослуживцы отца и горячо между собой толковали. Г. И. Керцелли, управляющий хозяйственной частью больницы<sup>99</sup>, сказал своим внушительным тоном: «Когда священник начал читать манифест, я испугался; вдруг это конституция?» Другие с ним стали спорить. Непонятная фраза Керцелли мне очень понравилась. На другой день в гимназии я ее от себя повторял, пока не был поставлен надзирателем к стене «за глупые разговоры». Потому этот эпизод мне запомнился.

<sup>94</sup> обоснование (*фр.*).

<sup>95</sup> Имеется в виду Русско-турецкая война 1877–1878 гг.

<sup>96</sup> После Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. члены тайного общества «Народная воля» организовали на Александра II четыре покушения (2 апреля и 19 ноября 1879 г., 5 февраля 1880 г. и 1 марта 1881 г.), три первых не принесли царю вреда.

<sup>97</sup> Александр II был смертельно ранен 1 марта 1881 г. бомбой, брошенной в него народовольцем И. И. Гриневицким.

<sup>98</sup> Имеется в виду Манифест 29 апреля 1881 г. «О призыве всех верных подданных к служению верою и правдою Его Императорскому Величеству и Государству, к искоренению гнусной крамолы, к утверждению веры и нравственности, добродетели, к воспитанию детей, к истреблению неправды и хищения, к водворению порядка и правды в действии учреждений России». Этот манифест гласил: «Богу, в неисповедимых судьбах Его, благоугодно было завершить славное Царствование Возлюбленного Родителя Нашего мученической кончиной, а на Нас возложить Священный долг Самодержавного Правления. Повинуясь воле Провидения и Закону наследия Государственного, Мы приняли бремя сие в страшный час всенародной скорби и ужаса, пред Лицем Всевышнего Бога, веруя, что, предопределив Нам дело Власти в столь тяжкое и многотрудное время, Он не оставит Нас Своею Всесильной помощью. Веруем также, что горячие молитвы благочестивого народа, во всем свете известного любовью и преданностью своим Государям, привлекут благословение Божие на Нас и на предлежащий Нам труд Правления. В Бозе почивший Родитель Наш, прирав от Бога Самодержавную власть на благо вверенного Ему народа, пребыл верен до смерти принятому Им обету и кровию запечатлел великое Свое служение. Не столько строгими велениями власти, сколько благостью ее и кротостью совершил Он величайшее дело Своего Царствования – освобождение крепостных крестьян, успев привлечь к содействию в том и дворян-владельцев, всегда послушных гласу добра и чести; утвердил в Царстве Суд и подданных Своих, коих всех без различия соделал навсегда свободными, призвал к распоряжению делами местного управления и общественного хозяйства. Да будет память Его благословенна вовеки! Низкое и злодейское убийство Русского Государя, посреди верного народа, готового положить за Него жизнь свою, недостойными извергами из народа, – есть дело страшное, позорное, неслыханное в России и омрачило всю землю нашу скорбью и ужасом. Но посреди великой Нашей скорби Глас Божий повелевает Нам стать бодро на дело Правления в уповании на Божественный Промысел, с верою в силу и истину Самодержавной Власти, которую Мы призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее поплзновений. Да ободрятся же пораженные смущением и ужасом сердца верных наших подданных, всех любящих Отечество и преданных из рода в род Наследственной Царской Власти. Под сению Ее и в неразрывном с Нею союзе земля наша переживала не раз великие смуты и приходила в силу и в славу посреди тяжких испытаний и бедствий, с верою в Бога, устроющего судьбы ее. Посвящая Себя великому Нашему служению, Мы призываем всех верных подданных наших служить Нам и Государству верой и правдой к искоренению гнусной крамолы, позорящей землю Русскую, – к утверждению веры и нравственности, – к добродетели, к воспитанию детей, – к истреблению неправды и хищения, – к водворению порядка и правды в действии учреждений, дарованных России Благодетелем ее, Возлюбленным нашим Родителем» (Государство Российское: власть и общество. С древнейших времен до наших дней: сборник документов. М., 1996. С. 233–235).

<sup>99</sup> Имеется в виду Московская глазная больница (офтальмологическая клиника) при медицинском факультете Московского университета.

Так мое поколение входило в жизнь при самом начале «реакции» 1880-х годов. Мы ею дышали с самого детства. Нас *она* воспитала.

Последствия всякой политики сказываются обыкновенно не скоро, и потому суждения потомства так отличаются от мнения современников. Царствование Александра III оказалось роковым для России; *оно* направило Россию на путь, который подготовил позднейшую катастрофу. Мы это ясно видим *теперь*; *тогда* же по внешности это царствование казалось благополучным. Вырос престиж России и самодержавия, и самого самодержца. Его личные свойства мирили с ним даже тех, кто его политику осуждал. Он казался не блестящим, не эффектным, но скромным, простым и преданным *службой* своей родины. Это впечатление свои плоды принесло. В последние годы его короткого царствования все были уверены, что он самодержавный режим укрепил и надолго.

Его царствование считалось эпохой «реакции» и общества, и правительства. Мы сами об этом судить не могли, но старшие в том были единодушны. Одни с негодованием, другие с похвалой говорили одни об упадке, другие об отрезвлении общества. И то и другое было, конечно, но это еще не «реакция». Кто пережил 1905 и 1917 годы, поймут лучше шестидесятые. Переворот в учреждениях и понятиях, который произошел в эпоху Великих реформ, не мог пройти без излишеств. И тогда явилась вера в наступление новых «чудес», пропало сознание «невозможности». Такой подъем увлекателен. Он составлял ту «весну», о которой с увлечением вспоминал Тимирязев. Но он должен был миновать, как проходит всякая весна, всякая страсть. О них радостно вспоминать, но жить ими долго нельзя. У общественной жизни есть свой темп, и за слишком быстрый скачок платят потом годами застоя.

Мы испытали такое же «успокоение» и «отрезвление» в 1907–1914 годах, после безумств 1905 и 1906 годов. Поскольку «реакция» старается вернуться назад, отрезвление 1907–1914 годов «реакцией» не было. Оно укрепило существование народного представительства, послужило успеху реформы 1905 года. Людей, которые мечтали о возвращении к старому, о реставрации самодержавия, за эти годы становилось все меньше. Потому настоящей *реакцией* это не было.

Была ли общественная реакция в 1880-х годах? Что отдельные люди могли мечтать о восстановлении дореформенной жизни – возможно. Но такие люди вымирали, и не ими характеризовалось настроение общества. А общество назад не стремилось; все понимали, что такой возврат никому *не под силу*. Курс, на который в 1860-х годах была поставлена Россия, казался для всех окончательным. О нем поэтому не было спора. Но зато общество помирилось с тем, что дальше оно *не идет* и не скоро увидит «увенчание здания»<sup>100</sup>.

Я был слишком молод, чтобы самому об этом судить. Но некоторые наблюдения я и сейчас вспоминаю. В широком обществе самодержавие еще хранило свое обаяние. Не за реформы, которые оно провело в 1860-х годах, а за то, что *олицетворяло* в себе *народную мощь* и *величие государства*. Монархические чувства в народе были глубоко заложены. Недаром личность Николая I в широкой среде обывателей не только не вызывала злобы, но [и] была предметом благоговения. Когда я студентом прочел «Былое и думы», ненависть Герцена к Николаю оказалась для меня «откровением». Я до тех пор встречал восхищение Николаем. «Это был *настоящий* государь», – говорили про него. Восхищались его ростом, силой, осанкой, его «рыцарством», его голосом, который во время команды был слышен по всем углам Театральной площади. «Он и в рубище бы казался царем», – фраза, которую много раз в детстве я слышал. Добавляли: «Ни у какого злодея на него не поднялась бы рука». В сравнении с ним Александр II, несмотря на все его заслуги перед Россией, терял личное обаяние; а о простецкой скромной фигуре Александра III говорили скорей с огорчением. Даже те анекдоты о Николае, которые мое поколение возмущали, как проявление самодурства, передавались среди обыва-

<sup>100</sup> То есть дарование монархом народного представительства и конституции.

телей с национальной «гордостью». Все это были пережитки старой эпохи. Следы рабства проходят не скоро. Они воскресли в Советской России; они лежат в основе мистического обожествления Ленина и постыдного холопства перед Сталиным.

Но при всей идеализации личности Николая о *порядках* его времени вспоминали со страхом; никто к ним не хотел бы вернуться. От царствования его оставался в памяти ужас. Рассказы про времена Николая I с детства производили на меня впечатление того же кошмара, как рассказы про татарское иго. Это время покрывалось определением: «тогда была крепость»<sup>101</sup>. Несуществовавшее крепостное право в моем детском воображении превращалось в реальное представление «крепости» с башнями, бойницами, гарнизонами и часовыми. И я не могу представить себе, чтобы кто-нибудь в эти 1880-е годы мог серьезно желать не только восстановления крепостничества, но [и] возвращения к прежним судам, к присутственным местам времен «Ревизора» и «Мертвых душ» и т. д. Это кануло в вечность.

Нежелание возвратиться назад особенно чувствуется при воспоминаниях о тогдашних «реакционерах». В детстве мне приходилось видеть «крепостников», и хотя я не все понимал, но много запомнил. Приведу два примера.

В числе близких друзей нашей семьи был отставной гусар Лев Иванович Мичурин, живший в Рязанской губернии, но в свои приезды в Москву бывавший у нас. Лысый, с окладистой, седой бородой, с носом крючком и живыми пронзительными глазами, он нам, детям, нравился тем, что ходил в поддевке и говорил внушительным голосом. Он был словоохотлив и много рассказывал; изображал в лицах свои приключения, столкновения то в качестве земского гласного, то мирового судьи. По его рассказам, к нему все относились несправедливо, а он всех побеждал. Особенно от него доставалось какому-то Александру Ивановичу, с которым он все время сражался. Он хвалился, что много испортил крови ему и что будто бы тот говорил: «Никого я в жизни не боялся, а Льва Ивановича боюсь, очень боюсь». Когда я стал старше, я узнал, что этот Мичурин был известный далеко за пределы Рязанской губернии «реакционер», неугомонный скандалист Пронского уезда и Рязанского губернского земства<sup>102</sup>, а что Александр Иванович был знаменитый либеральный деятель А. И. Кошелев. Однако вот что я все-таки помню: этот реакционер, издевавшийся над всяким проявлением «либерализма», возврата к старине не хотел. Он сам служил мировым судьей, был убежденным земцем<sup>103</sup>, и не было его приезда к нам, чтобы не начиналось споров о земстве, всесословной волости, мелкой земской единице и других мне непонятных словах<sup>104</sup>. Он осуждал вовсе не мировой институт, тем более не земские учреждения, а только направление, которое в них проявлялось; с этим направлением он боролся в рамках самих учреждений и на замену их стариной никогда бы не согласился. Скажу и другое: он был страстным сельским хозяином. Я слышал его разговоры про трудность вести теперь хозяйство, про споры с крестьянами. Он много раз утверждал, что все было легче при крепостных и что самим крепостным тогда жилось лучше. По младенчеству я его однажды спросил: зачем же тогда крепостных уничтожили? Этот крепостник мне ответил: «Тебе об этом рано рассказывать; только вот что запомни: сейчас всем стало гораздо

<sup>101</sup> Иными словами – крепостное право, при котором помещичий крестьянин был «прикреплен» к помещичьей земле, «крепок» к ней, не имея права покинуть ее без разрешения помещика.

<sup>102</sup> Земство – система местного общественного всесословного самоуправления, действовавшего на основании Земского положения 1864 г., замененного в 1890 г. новым, менее демократичным Земским положением. Земство имело два уровня – губернский и уездный. Распорядительными органами земства были губернские и уездные земские собрания, гласные которых избирались на основе куриальной системы, исполнительными – формировавшиеся собраниями губернские и уездные земские управы. Земство было ликвидировано большевиками после Октябрьской революции 1917 г.

<sup>103</sup> То есть сторонником развития и демократизации земского самоуправления.

<sup>104</sup> Всесословная волость, или мелкая земская единица, – низший уровень земского самоуправления, действующий на основе волости – низшей административно-территориальной единицы Российской империи. Волостное земство, вопрос о создании которого обсуждался в правительственных и общественных кругах с 1860-х гг., начало создаваться после Февральской революции 1917 г. по указу Временного правительства, однако вскоре было ликвидировано большевиками.

труднее, чем прежде, а слава Богу, что прежнего нет. И всегда молись за этого государя; что теперь плохо, в этом виноваты мы сами». Эти слова я запомнил более всего потому, что тогда их не понял. И таким «крепостником» был он не один.

Кажется, через Л. И. Мичурина мы познакомились с другой известной семьей – Кисловскими. У них был дом в Неопалимовском переулке с громадным садом, которые в это время еще кое-где сохранялись в Москве. У стариков Кисловских было несколько детей; они все были старше нас, и близости домами не завязалось. Мичурин об этом жалел и всегда их расхваливал. Но после смерти Кисловского, когда я был гимназистом, знакомство с Кисловскими возобновилось. К нам часто стал ездить младший сын Лев Львович в красивой форме гусара. Он раз упросил отпустить меня к нему в деревню. В его имении, Рязанской губернии, был, как полагалось, барский дом с громадным двором перед подъездом и густым садом за домом; масса служб на дворе. Жила там его мать вместе с двумя дочерьми; он сам вел хозяйство, которым увлекался со страстью. Имение было громадное, во много тысяч десятин, и очень доходное. Л. Л. Кисловский был превосходный наездник, и мы целыми днями верхом объезжали его леса, хутора, проверяя лесников и управляющих. Везде был образцовый порядок. Кисловский все знал, во все входил, всем распоряжался. Но как ни мал был я тогда, многое мне очень не нравилось. Встретив крестьянина, который перед ним шапки не снял, Кисловский осыпал его грубою бранью, а мне старался внушать, что этого требует вежливость. Я спрашивал, как же он может заставить перед собой скидывать шапку, и он объяснил, что все мужики у него на аренде и что грубиянов к своей земле он не допустит. Этого мало. Много крестьян приходило в контору по делу аренды. Они на дворе стояли без шапок, даже когда Кисловского не было. Он разъяснил, что на барском дворе они надевать шапок *не смеют*. Раз мы проезжали верхом мимо развалившегося барского дома, стоявшего на очень красивом пригорке. Я спросил его: «Почему дома не поправляют?» У Кисловского вырвалась фраза: «Да потому, что отпустили скотов на свободу». Казалось, дальше идти было нельзя. Это был настоящий озлобленный пессимистический крепостник. Но вот другая сторона этого дела. Тот же Кисловский увлекался хозяйством, техническими его улучшениями, достигнутыми в нем результатами, которыми гордился и хвастался. Он мне внушал, что всякий образованный человек в России должен заниматься хозяйством, что именно *это* – настоящее дело, что сельское хозяйство – непочатый угол для улучшений, и не раз добавлял, что даровой крепостной труд помещиков избаловал и что только после освобождения всякий человек может показать, *чего* он действительно стоит. Это здоровое понимание, несовместимое с желанием «реставрации», уживалось в нем с дворянской спесью, с презрением к мужику, на которого он смотрел так, как новопроезженный заносчивый офицер смотрит иногда на солдата. Не идеализация старых порядков, а высокомерное отношение к бедным и слабым, самомнение и самовлюбленность определяли его политическую физиономию. Знакомство с Кисловским у нас не продолжалось; он бывать у нас перестал; была какая-то ссора. Помню, как за него заступался Мичурин, говоря со вздохом: «У него несчастная слабость показывать себя в сто раз хуже, чем он на самом деле». Я из виду его потерял. Но в 1905 году я в газетах прочел, что его имение Пустотино было раньше других дотла сожжено. Читал и о том, как Кисловский приезжал в Петербург с делегацией правых жаловаться государю на Витте; как он упал перед государем на колени и просил его не отдавать на разграбление их, верных слуг России<sup>105</sup>. Многое мне тогда вспомнилось из прежнего времени и стало понятно.

<sup>105</sup> Л. Л. Кисловский в числе членов делегации Всероссийского союза землевладельцев и членов депутатий других правых организаций представлялся Николаю II 1 декабря 1905 г. в Царском Селе. Всероссийский союз землевладельцев поднес императору адрес, в котором, в частности, говорилось: «Самодержавнейший Государь! Твой Манифест 17 октября возбудил во всех слоях преданного Тебе населения существенное сомнение относительно неприкосновенности исконной русской самодержавной неограниченной власти. Образованное вслед за Манифестом 17 октября правительство, в форме Совета министров, оказалось не только бессильно к обузданию крамолы, но, наоборот, смута в государстве растет и ширится, пускает

На примерах этих двух крепостников, молодого и старого, можно видеть, что тогда не покушались мечтать о возвращении к дореформенной эпохе в России. После реформ 1860-х годов с крепостниками произошло то же, что и с большинством сторонников неограниченного самодержавия после 1905 года. Они могли осуждать направление Государственной думы, могли желать повернуть избирательный закон в *свою* пользу, использовать новые учреждения в своих интересах, но вернуться к эпохе настоящего самодержавия, уничтожить представительство они не только были не в силах, но уже *не хотели*. В 1880-х годах было то же самое. Крепостники не только поняли, что ввести снова крепость нельзя, но они поняли пользу «новых порядков» и только стремились – что было их правом – извлечь из них *для себя* наибольшую выгоду. Потому настроение 1880-х годов настоящей «реакцией» не было. В нем было другое, чему умное правительство могло бы только порадоваться. В обществе наступило отрезвление и успокоение; оно от этого стало гораздо способнее к реальной и полезной работе, чем в эпоху своего «Sturm und Drang»<sup>106</sup>. Потому глубокое преступление перед Россией совершили те, кто толкнул *политику* Александра [III] к настоящей «реакции».

Словом «реакция» можно злоупотреблять и по отношению к власти. Нельзя считать реакцией замедление, даже остановку в ходе начатых реформ. Они часто полезны. Нужно время, чтобы реформы были страной усвоены и чтобы к ним приспособились нравы. Детали реформы иногда требуют исправления, даже хода назад. Это зигзаги, которые отмечает всякая восходящая линия. Жизнь идет ритмом, сменой движения и остановок и даже отступлением, чтобы лучше скакнуть. В этом никакого несчастья нет, как это ни бывает досадно.

Нельзя было бы винить советников Александра III и за то, что они убедили его *остановиться* и отказаться от попытки последних годов преодолеть революционную смуту *уступкой либеральным желаниям*. Это средство не всегда удается. Такая политика Лорис-Меликова вызывала давно оппозицию. Но на нее пошел государь, подписавши в день 1 марта так называемую «конституцию Лорис-Меликова»<sup>107</sup>, и ее одобрил будущий император, наследник Александр Александрович.

более глубокие корни, охватывает все большее пространство нашего Отечества. Правительство это бессильно потому, что ищет опоры только в элементах враждебных Твоему самодержавию. Съезд осмеливается просить Тебя, Великий Государь: внемли голосу нашему, – людей Земли Русской, – и самодержавным повелением призови иных исполнителей Твоей монаршей воли». Затем Николай II выслушал каждого из представителей Всероссийского союза землевладельцев, в частности Л. Л. Кисловского, который сказал: «Ваше Императорское Величество! Перед Вами – землевладелец несчастной Рязанской губернии, которая ныне грохнет, выжигается и разграбляется шайками пугачевцев. За эти последние дни беспрепятственно разграблены и выжжены дотла имения как губернского предводителя дворянства, так и мои и многих десятков ни в чем не повинных тружеников-землевладельцев. Как в остальных губерниях, так и у нас нет никакого аграрного движения, и не может быть речи об аграрных отношениях, как причинах беспорядков. Мы жили с крестьянами честно и мирно. За месяц еще крестьяне говорили, что они никогда не пойдут на такое дело, но что если придут чужие толпы, то они ничему помешать не могут. За несколько месяцев как мне, так и другим землевладельцам было объявлено, – как в виде слухов, так и прокламациями, – что мы “назначены” к истреблению. Кем назначены? Не соседями крестьянами, а революционным комитетом. Три недели тому назад я лично был у рязанского губернатора, изложил ему подробно положение дела и просил охраны солдат. Имение мое простиралось в три волости и занимало центральное положение, удобное для охраны и других владельцев, ныне также выжженных дотла. Губернатор обещал несколько солдат – *и ничего не сделал*. 26 ноября являются с железной дороги скопища разных лиц и “студентов”, разбивают винные лавки, – и пьяные толпы крестьян к ним присоединяются, идут и по дороге грабят, жгут и уничтожают хутора и усадьбы. Разгром производили вначале крестьяне казенных сел в черноземах, которым наши песчаные земли не нужны ни по чем, аграрного там ничего не было. На третий день, видя безнаказанный грабеж, которому никто не препятствовал, и местные крестьяне стали помогать грабить остатки, благо разрешено, и чтобы добро не пропадало. Злобы к разоряемым владельцам в основании разгромов не было, а причиной была безнаказанная и беспрепятственная агитация революционеров. Мы, мирные труженики-землевладельцы, были всегда верными Твоими слугами, Государь! За что же громят и разоряют нас ныне – с ведома и без защиты со стороны Твоего нового правительства? В лице моем все разоренные, нищие ныне, верные Тебе, самодержавный Царь, рязанские землевладельцы молят Тебя коленопреклоненно о помиловании и о защите. Ведь и отцы наши служили верой, правдой Твоим родителям, и я служил Тебе, Государь, сначала в Лейб-гвардии Гусарском Вашего Величества полку, потом уездным предводителем дворянства, и мои дети, хоть и нищие, все же будут верными слугами Твоими и Твоих потомков» (1 декабря в Царском Селе. II // Московские ведомости. 1905. № 322. 6 дек. С. 2).

<sup>106</sup> «Буря и натиск» (нем.) – название течения в немецкой литературе конца XVIII в., наименование которого восходит к одноименной драме писателя Ф. М. фон Клингера.

<sup>107</sup> В действительности по поручению Александра II министр внутренних дел граф М. Т. Лорис-Меликов разработал про-

События 1 марта остановили этот шаг в самом начале; враги этой реформы царевубийство использовали. Александр III, под влиянием Победоносцева, отказался от созыва представителей земств, принял отставку Лорис-Меликова и Абазы и обнародовал написанный Победоносцевым Манифест 29 апреля 1881 года, в котором исповедовал свою веру в «силу и истину самодержавной власти, которую он призван утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений».

Этот манифест считался началом реакции; таким он оказался не потому, что он *сам* это значил, а по мотивам, которые его продиктовали. Отказ от «увенчания здания» мог быть не «реакцией», а простой остановкой. Идти дальше путем Лорис-Меликова было *не обязательно*, как и в 1905 году можно было быть за упразднение самодержавия, а Учредительного собрания *не хотеть*. И отношение широкого общества к Манифесту 29 апреля показало, что необходимость «увенчания здания» еще не стала *для всех* очевидной. Самодержавие себя еще не изжило, доверие к нему не пропало. Это пришло значительно позже.

Но одно дело идти вперед, к «увенчанию» того, что в 1860-х годах было заложено, другое – ломать то, что уже было построено. Задачей Александра III при наступившем успокоении общества должно было быть охранение Великих реформ, их главных основ, на которых стояла новая Россия, и благожелательное исправление тех их погрешностей и недочетов, которые обнаружила жизнь. Его царствование могло быть *консервативным*, а не *реакционным*.

Не только в реформах могли с самого начала быть несовершенства; сама жизнь уходила далеко вперед и требовала поправок к реформам. Это особенно ясно на крестьянском вопросе. Сельское общество через 20 лет после освобождения ни по составу, ни по настроению не было тем, чем было прежде. Оно не было той однородной, приниженной массой, привыкшей терпеть и подчиняться помещику, для которой годилось Положение 1861 года<sup>108</sup>. Крестьянство расслаивалось; в его среде интересы стали различны. Являлись конфликты между единицей и обществом. Признание власти старичков, беспрекословное подчинение миру<sup>109</sup> уже противоречили правосознанию. Государственная власть, не покушаясь на начала крестьянского освобождения, не могла быть безучастной к тому, как разлагаются отношения в области необъятной сельской России.

То же самое можно сказать о земской реформе. Как ни бесспорны были принципы, положенные в ее основание, как ни велики успехи, которые ею были достигнуты, опыт показал, с какими трудностями развивалось земское дело; как мало было подходящих «людей», как косно и безучастно относилось к нему население, как оно было беззащитно перед теми, кто хотел ловить рыбу в мутной воде. Благожелательный контроль и содействие государства и здесь могли быть только полезны.

Это относится и к судебной реформе. Последняя, пожалуй, оказалась самой удачной, особенно потому, что недостатки законов в значительной мере исправлялись кассационным Сенатом<sup>110</sup>, который в эту эпоху стоял на страже духа Уставов<sup>111</sup>. Но и Сенату *не все* было доступно.

---

ект не конституции, а создания при Государственном совете Особого совещания из представителей населения. Особое совещание должно было рассмотреть, перед внесением их в Государственный совет, подготовленные Министерством внутренних дел законопроекты, нацеленные на решение вопросов местного значения. Вместе с тем создание Особого совещания явилось бы шагом на пути к установлению конституции, что признавал и Александр II, который 1 марта 1881 г. утвердил проект Правительственного сообщения о привлечении представителей населения к законосовещательной деятельности. См.: Конституционные проекты в России XVIII – начала XX века. М., 2010. С. 484–486.

<sup>108</sup> Имеется в виду Общее положение 19 февраля 1861 г. «О крестьянах, вышедших из крепостной зависимости».

<sup>109</sup> В данном случае «миром» названа крестьянская община.

<sup>110</sup> Правительствующий сенат – высшее государственное коллегиальное учреждение, существовавшее в 1711–1917 гг. Во второй половине XIX – начале XX в. совмещал административные и судебные функции. Сенаторы назначались императором и распределялись по нескольким департаментам. Первый (Административный) департамент ведал опубликованием законов, надзором за местным управлением и являлся органом административной юстиции. Второй (Крестьянский) департамент был высшим кассационным судом по разрешению спорных дел пореформенного крестьянства. Третий (Департамент героль-

Перед Александром III лежала благодарная задача: устранять препятствия, которые мешали успеху великих преобразований предыдущего царствования. Одним из главных препятствий было именно возбуждение, нетерпеливость нашего общества. «Весна», о которой говорил Тимирязев, препятствовала спокойной работе. То же самое мы увидели в 1906 году, в нашу эпоху. Но в 1880-х годах пора «весны» миновала; общество успокоилось. Созданные Александром II учреждения, предназначенные для мирного времени, могли теперь развиваться и совершенствоваться в нормальных условиях. Благожелательная помощь этому со стороны государства была как раз тем, что было тогда нужно России, что подходило и к характеру государя, и к настроению общества.

Но советники государя увлекли его на *другую* дорогу; вероятно, и его личные симпатии клонились туда. Но не важно, *кто* был настоящей причиной нового курса; важно то, что он был направлен не на исправление, а на уничтожение Великих реформ, на борьбу с принципами, на которых они были построены.

Такое отношение нового государя к Великим реформам получило курьезное внешнее оказательство. В 1880-х годах наступила серия двадцатипятилетних юбилеев Великих реформ, начиная с крестьянской. Я тогда был гимназистом. Помню возмущение старших, когда под предлогом, что юбилеями «злоупотребляют», было запрещено праздновать двадцатипятилетие и было разрешено праздновать лишь пятидесятилетия<sup>112</sup>. Это было прозрачным запретом говорить о веревке в доме повешенных.

Это могло бы быть только неловкостью исполнителей, которые «перестарались». Но это соответствовало существу отношения. Отменить одним указом все реформы было нельзя; надо было на их место ставить что-либо другое. Это и делалось постепенно, подрывая основы реформ, до подчинения крестьян дворянской помещичьей опеке включительно<sup>113</sup>. Среди такой подкопной работы было бы лицемерие славословить реформы; точно так же разбирать Иверскую<sup>114</sup> и Храм Спасителя можно только если государство ведет пропаганду «безбожия».

Во имя чего вышло это официальное гонение на шестидесятые годы? Опубликованные в последнее время документы громадного интереса и исторической важности показывают ту атмосферу, которая *определила* «реакцию» Александра III<sup>115</sup>.

Она была начата во имя «охранения самодержавия». Это кажется странным. Можно еще понять, что в плане Лорис-Меликова испуганное воображение завидело «конституцию». На заседании Совета министров 8 марта [1881 года] именно *это* решило судьбу этого начина-

---

дин) являлся высшим органом охраны сословных прав дворянства. Четвертый (Судебный) департамент представлял собой высшую апелляционную инстанцию для рассмотрения гражданских, уголовных и межевых дел. Наряду с четырьмя административными департаментами с 1866 г. функционировали два кассационных департамента: Гражданский (высшая судебная инстанция для кассации гражданских дел по жалобам на решения судебных палат, окружных судов, мировых съездов) и Уголовный (высшая судебная инстанция для кассации решений по уголовным делам судебных палат, окружных судов, мировых съездов и мировых судов).

<sup>111</sup> Речь идет о Судебных уставах 1864 г.: Уставе уголовного судопроизводства и Уставе о наказаниях, налагаемых мировыми судами.

<sup>112</sup> По поводу празднования 25-летия отмены крепостного права Александр III указал министру внутренних дел графу Д. А. Толстому: «Никаких 25-летних юбилеев не признавать, и празднование их особенным образом запретить». Запрет распространялся не только на брошюры для народного чтения и сочинения о крестьянстве, но и на печатание «даже известий, касающихся предстоящего дня 25-летия освобождения крестьян» (*Щетицина Г. И.* Университеты в России и Устав 1884 г. М., 1976. С. 147). Объясняя мотивы этого решения, князь В. П. Мещерский писал: «Пока жива Россия, нельзя будет произносить ни этих слов 19 февраля, ни вызывать этого дорогого образа [Александра II] без ощущения стыда и позора, ибо за 19 февраля идет 1 марта! Следовательно, никогда, пока Россия жива, не может быть речи о празднике в честь 19 февраля» (Гражданин. 1886. № 15. 22 февр. С. 1).

<sup>113</sup> Подразумевается прежде всего введение в действие Положения о земских участковых начальниках 1889 г.

<sup>114</sup> Иверская часовня – построенная в 1680 г. часовня у Воскресенских ворот, ведущих на Красную площадь в Москве. Получила название по находящемуся в ней списку Иверской иконы Божией Матери. Разрушена в 1929 г., воссоздана в 1995 г.

<sup>115</sup> Судя по всему, В. А. Маклаков имеет в виду документы, опубликованные в следующих изданиях: К. П. Победоносцев и его корреспонденты. М., 1925. Т. 1. Пт. 1; Переписка К. П. Победоносцева с Александром III. М., 1925. Т. 1; *Перетц Е. А.* Дневник государственного секретаря (1880–1883). М.; Л., 1927.

ния<sup>116</sup>. Это кое-как допустимо. Ведь и сама общественность думала так, полусерьезно, полуплутливо называя этот план «конституцией». Но тогда же был поставлен гораздо более общий вопрос: в какой мере *самые реформы 1860-х годов с самодержавием совместимы?* Этого вопроса в 1860-х годах не затрагивали, ибо, напротив того, самодержавие считалось *нужным* для того, чтобы их провести. Но этот вопрос с утрированной резкостью и был поставлен 8 марта 1881 года Победоносцевым. Ему возражал Абаза, заявив, что если Победоносцев прав, то должны быть уволены все участники Великих реформ<sup>117</sup>. Так были поставлены точки на *i*. Или эти реформы – или самодержавие. Публичные заявления в этом же смысле появились позднее при Николае II; записка Витте о земстве<sup>118</sup>, Муравьева о судебных реформах<sup>119</sup>; но келейно дилемма была сформулирована уже в самом начале царствования Александра III и получила ответ в Манифесте 29 апреля. Она и была причиной похода против начал Великих реформ.

Так царствование Александра III сделалось подлинной *реакцией*, реставрацией уваровской формулы – «Самодержавие, православие и народность»<sup>120</sup>. Я был гимназистом, когда министр народного просвещения гр[аф] Делянов провозглашал ее в своей речи студентам: «Следуйте этому, – сказал он в заключение речи, – и мы все будем счастливы». И таково было уже тогда новое настроение, что *можно* было при студентах это сказать безнаказанно.

Широкое общественное мнение, даже передовое, в то время отрицало правильность подобной дилеммы. Оно не хотело верить, чтобы реформы, созданные самодержавием, могли быть с ним несовместимы. Оно помнило, что главная из них – крестьянская – могла быть проведена только сильною самодержавною властью. Отрицание совместимости созданного в 1860-х годах порядка с создавшей их властью казалось провокационной ловушкой, возбуждавшей негодование. Такой стала позиция либеральной печати.

Но если эта печать была искренна, то права была все-таки не она, а ее противники, реакционеры. Они видели вернее и глубже. Начала, на которых реформы 1860-х годов были построены, в конце концов действительно неограниченное самодержавие подрывали. Свобода личности и труда, неприкосновенность приобретенных гражданских прав, суд как охрана закона, а не усмотрение власти, местное самоуправление были принципами, которые противоречили «неограниченности» власти монарха. Многим это сразу не было видно. Для того чтобы эта

<sup>116</sup> Совет министров – высший совещательный орган под председательством императора, образованный Александром II в 1857 г. для рассмотрения особо важных дел, ранее разрешавшихся по личным докладом министров и главноуправляющих. Был конституирован 12 ноября 1861 г. как учреждение для соблюдения единства действий министерств и главных управлений и рассмотрения наряду с Комитетом министров дел высшего государственного управления. В состав Совета министров в 1857–1882 гг. входили председатель Комитета министров, министры и главноуправляющие, являвшиеся по должности членами Комитета министров, управляющий Морским министерством, главноуправляющий IV отделением Собственной его императорского величества канцелярии (с 1860 г.). По особым повелениям императора в состав Совета министров были включены великие князья Константин Николаевич (1857–1881) и Александр Александрович (1868–1881). Совет министров 19 октября 1905 г. был преобразован в объединенное правительство во главе с председателем Совета министров.

<sup>117</sup> Ср. с записью о заседании Совета министров 8 марта 1881 г. в дневнике государственного секретаря Е. А. Перетца: «...А. А. Абаза произнес взволнованным голосом, но при этом весьма решительно: “Ваше Величество, речь обер-прокурора Св[ятейшего] Синода есть, в сущности, обвинительный акт против царствования того самого государя, которого безвременную кончину мы все оплакиваем. Если Константин Петрович прав, если взгляды его правильны, – то вы должны, государь, уволить от министерских должностей всех нас, принимавших участие в преобразованиях прошлого, скажу смело, великого царствования”» (Перетц Е. А. Дневник (1880–1883). М., 2018. С. 157–158).

<sup>118</sup> См.: Самодержавие и земство. Конфиденциальная записка министра финансов статс-секретаря С. Ю. Витте (1899). Stuttgart, 1901. 4-е изд.: *Bumte C. Ю.* По поводу непреложности законов государственной жизни. СПб., 1914.

<sup>119</sup> См.: Всеподданнейший доклад управляющего Министерством юстиции, тайного советника Муравьева о пересмотре законоположений по судебной части // Высочайше учрежденная Комиссия для пересмотра законоположений по судебной части. Объяснительная записка к проекту новой редакции Учреждения судебных установлений. Т. 1. Ч. 1. Введение. Главные основания предполагаемого судостроительства. СПб., 1900. С. 65–82.

<sup>120</sup> Формула «Самодержавие, православие, народность» была впервые обоснована министром народного просвещения графом С. С. Уваровым во всеподданнейшем докладе императору Николаю I от 19 ноября 1833 г. «О некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении Министерством народного просвещения».

несовместимость почувствовалась, надо было, чтобы эти принципы укоренились в общественных нравах и чтобы основанные на них учреждения получили все развитие, которое было возможно. Но, по существу, идеологи реакции были правы. Нормальный рост созданных в 1860-х годах учреждений уже вел к тому, что неограниченное самодержавие оказалось позднее ненужным и вредным; оно держалось на подчинении крепостного крестьянского большинства дворянскому меньшинству. Эта социальная несправедливость была его главной опорой. Самодержавие было нужно дворянству, чтобы силой государственного аппарата защищать эту несправедливость. Оно держалось и мистической верой народа в царя, надеждой, что он оберегает народ от помещиков. С тех пор как самодержавие отделило свою судьбу от дворянства, освободило крестьян и этим нанесло сословности непоправимый удар, его дни были сочтены. Как и современные фашизмы, оно было нужно, чтобы сломить старый порядок, силу преобладающих классов и построить общежитие на новых началах. Но когда это было окончено, в нем более не было надобности; жизнь стали устраивать на других основаниях, которые исключали необходимость «неограниченной власти».

Из этого можно было сделать только один логический вывод: что на самодержавии лежал последний долг довести до конца начатое дело, дать развиваться созданным им учреждениям, укорениться новыми идеями – и затем разделить свою власть с выросшим и подготовленным обществом, как честный опекун сдает имущество своему бывшему подопечному. Если бы Александр III пошел этой дорогой – 17 октября [1905 года] появилось бы другого числа и в другой обстановке<sup>121</sup>; тогда и трехсотлетняя династия не погибла бы так бесславно. Но идеология реакции толкнула его на гибельный план – постепенно душить реформы 1860-х годов. Этим они думали устранить угрозу, которая нависла над самодержавием. В этой борьбе против истории самодержавие было побеждено, но России дорого обошлась такая борьба.

Как относилось широкое общественное мнение к политике Александра III? Поскольку она велась под флагом не *отмены*, а только исправления произведенных реформ, большинство ее недостаточно понимало. А либеральное меньшинство, которое эту политику верно оценивало, могло делать только одно: защищать реформы от искажений. Мечты о наступлении, об увенчании здания оно на время покинуло. Либеральное общество стало консервативным, ибо защищало то, что уже было, отстаивало существующие позиции против реакционных атак; оно понимало, что нужны не эффектные нападения, а неблагодарная борьба на позициях. Ему приходилось защищать реформы от вредного «исправления»; приходилось молчать о недостатках реформ, которыми прежде общество было само недоволено. Так создавалась не всегда искренняя идеализация реформ и самой личности Александра II, которую застало поколение 1880-х годов. Тон политической печати этого времени стал умереннее и лояльнее. Люди боевого темперамента и особенно молодежь огорчались. Осторожности не дано увлекать, как увлекала смелость 1860-х годов. Но зато своей цели эта позиция достигала. Она отнимала оружие у реакции и ее пыл успокаивала; помогала тем сторонникам Великих реформ, которые наверху, в Государственном совете, в «сферах» около государя, поскольку могли, защищали реформы Александра II. Это помогало выиграть время и ослабить удар. Либеральная пресса за эти трудные годы делала не эффектное и неблагодарное, но зато несомненно полезное дело.

Было и другое последствие. Нападки реакции на учреждения 1860-х годов идеализировали их в глазах передовой части русского общества. Работа в них становилась идейной миссией. Она стала труднее. И прежде данные реформами права казались часто узкими и стесненными; на это прежде громко указывали, старались права свои расширять, не боясь столкновений; общественные деятели рисковали только *собой*. Теперь, когда увидели, насколько это опасно для самих учреждений, поняли, что надо не критиковать, не осуждать, а беречь то, что имели. Началась в обществе эра благоразумия, осторожности, компромис-

<sup>121</sup> Подразумевается Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка».

сов и уступчивости. Это вызывало со стороны нетерпеливых и шепетильных людей нарекания и осуждения. Но эти скромные деятели спасали то, что было можно спасти.

Спор за сохранение реформ был единственной политической темой нашей печати. О движении вперед молчали; о конституции могла свободно говорить одна «реакция». Либерализму приходилось не поддаваться на провокацию правых, не позволять себе даже намека, что когда-нибудь самодержавия в России не будет; действительно, о конституции при Александре III серьезно никто и не думал. Было легче представить себе в России революцию, чем конституцию. Вопрос о ней с очереди был окончательно снят.

Находились отдельные горячие люди, которые думали о революции и пытались идти к ней другими путями. Но эти пути явно заводили в тупик. Прошло время, когда Исполнительный комитет мог не бояться быть смешным, ставя государю условия для прекращения террора<sup>122</sup>. Революционная деятельность теперь не кончалась, а *начиналась* арестом и ссылкой. К пострадавшим относились с уважением, как к героям и жертвам, но деятельность их в глазах всех была бесполезной. Политическое значение этих людей и методов восстановилось только позднее.

Восьмидесятые годы естественно были душны для тех, кто привык к 1860-м годам. В наше время не было порывов вперед, «завоеваний» и даже мало надежд. Либеральному меньшинству приходилось вести малозаметную мелкую работу, отказавшись от высоких задач. А у широкого общества ослабел интерес ко всякой политике. Оно занималось своими делами, добивалось личных успехов на существующих поприщах и не думало о борьбе с государственной властью. Александр III к концу своей жизни стал популярен. Вреда, который он принес России, тогда не замечали. А успокоение ставили в заслугу *ему*. А между тем жизнь не останавливалась; во время реакции продолжалось перерождение русского общества. На сцену появлялось поколение, которое не знало Николаевской эпохи и ее нравов. Реформы 1860-х годов, освобождение личности и труда приносили свои результаты. Расслаивалось крестьянство, богатели города, росла промышленность, усложнялась борьба за существование. Настоящий рост общества не нуждается в драматических эпизодах. Так в серую эпоху 3-й и 4-й Дум<sup>123</sup>,

<sup>122</sup> Имеется в виду открытое письмо Исполнительного комитета «Народной воли» Александру III, датированное 10 марта и опубликованное в типографии «Народной воли» 12 марта 1881 г. «Ваше Величество! – говорилось в письме. – Вполне понимая то тягостное настроение, которое Вы испытываете в настоящие минуты, Исполнительный комитет не считает, однако, себя вправе поддаваться чувству естественной деликатности, требующей, может быть, для нижеследующего объяснения выждать некоторое время. Есть нечто высшее, чем самые законные чувства человека: это долг перед родной страной, долг, которому гражданин принужден жертвовать и собой, и своими чувствами, и даже чувствами других людей. Повинуясь этой всеисильной обязанности, мы решаемся обратиться к Вам немедленно, ничего не выжидая, так как не ждем тот исторический процесс, который грозит нам в будущем реками крови и самыми тяжелыми потрясениями». «Мы не ставим Вам условий, – подчеркивали в конце письма его авторы. – Пусть не шокирует Вас наше предложение. Условия, которые необходимы для того, чтобы революционное движение заменилось мирной работой, созданы не нами, а историей. Мы не ставим, а только напоминаем их. Этих условий, по нашему мнению, два: 1) Общая амнистия по всем политическим преступлениям прошлого времени, так как это были не преступления, но исполнение гражданского долга. 2) Созыв представителей от всего русского народа для пересмотра существующих форм государственной и общественной жизни и переделки их сообразно с народными желаниями. Считаем необходимым напомнить, однако, что легализация верховной власти народным представительством может быть достигнута лишь тогда, если выборы будут произведены совершенно свободно. Поэтому выборы должны быть произведены при следующей обстановке: 1) Депутаты посылаются от всех классов и сословий безразлично и пропорционально числу жителей; 2) никаких ограничений ни для избирателей, ни для депутатов не должно быть; 3) избирательная агитация и самые выборы должны быть произведены совершенно свободно, а потому правительство должно в виде временной меры, впредь до решения народного собрания, допустить: а) полную свободу печати, б) полную свободу слова, в) полную свободу сходок, г) полную свободу избирательных программ. Вот единственное средство к возвращению России на путь правильного и мирного развития. Заявляем торжественно, пред лицом родной страны и всего мира, что наша партия со своей стороны безусловно подчинится решению народного собрания, избранного при соблюдении вышеизложенных условий, и не позволит себе впредь никакого насильственного противодействия правительству, санкционированному народным собранием. Итак, Ваше Величество, – решайте. Перед Вами два пути. От Вас зависит выбор. Мы же затем можем только просить судьбу, чтобы Ваш разум и совесть подсказали Вам решение, единственно сообразное с благом России, Вашим собственным достоинством и обязанностями перед родной страной» (Революционное народничество 70-х годов XIX века: сборник документов и материалов: В 2 т. М.; Л., 1965. Т. 2. С. 170–174).

<sup>123</sup> III Государственная дума открылась 1 ноября 1907 г. Она была единственной из четырех дореволюционных Государ-

а не в бурные 73 дня 1-й Государственной думы<sup>124</sup> укоренялся в России конституционный порядок. Ни идеи Каткова и Победоносцева, ни самодержавная власть Александра III не смогли заставить русское общество отказаться от преследования своих интересов и уверовать, что оно живет только для того, чтобы процветало «Самодержавие, православие и народность». Рядовое общество думало о себе, своих удобствах и предъявляло к власти *свои* требования. Не профессионалы-политики, а простые обыватели стали практически ощущать дефекты наших порядков. Неограниченное самодержавие было возможно при крепостном праве и 130 тысячах «даровых полицеймейстеров»<sup>125</sup>; оно могло сохраняться в переходное время, когда крестьяне еще ощущали себя особым низшим сословием, а на образованный класс смотрели как на господ. При 80-миллионном населении на всю Россию и при низком standard of life<sup>126</sup> управление могло быть по силам старому аппарату. Но по мере роста культуры, размножения населения, накопления богатств и осложнения жизни он должен был совершенствоваться и приспособляться к новым задачам. Этого он не сумел и этим показал свою неумелость. Но это наступило позднее. В 1880-х годах реформы 1860-х годов только начинали последствия свои обнаруживать. Там, где все идет нормальным путем, где нет революции, которая как землетрясение погребает целые пласты населения, там продолжается параллельное существование того нового, что уже родилось, и старого, что еще не умерло. В новом демократическом строе, созданном 1860-ми годами, старина еще не исчезла с ее типами, нравами и отношениями. Русской жизнью еще владели старые привычки, и на ней лежал налет спокойствия, барской лени и благодушия; новая жизнь только пробивалась сквозь старую. Это давало 1880-м годам особенный их отпечаток, который исчез позднее уже на наших глазах. И я еще вижу его сквозь свои детские воспоминания.

---

ственных дум, которая отработала свой полный, отпущенный законом срок по 9 июня 1912 г. IV Государственная дума действовала с 15 ноября 1912 г. и была распущена 6 октября 1917 г. указом Временного правительства.

<sup>124</sup> I Государственная дума была открыта 27 апреля 1906 г. Антиправительственные выступления большинства депутатов I Думы способствовали революционизации населения, особенно крестьян, потому Николай II распустил ее досрочно 8 июля 1906 г.

<sup>125</sup> Так назвал помещиков император Павел I.

<sup>126</sup> уровне жизни (англ.).

## Глава II. Старшие

Мое детство и юность протекли в Глазной больнице, типичной для старой Москвы и России. Кто ее не знал? Не нужно было говорить извозчику ее адреса. Долгое время она была единственной для Москвы и заменяла университетскую клинику, пока в 1890-х годах не возник на частные средства клинический городок на Девичьем.

Больница была в свое время создана тоже на частные деньги. Знаменитый богач Александровской эпохи Мамонов пожертвовал на устройство больницы площадь в самом центре Москвы. Она занимала целый квартал между Тверской, Мамоновским, Благовещенским и Трехпрудным переулками. Часть земли от Трехпрудного переулка была позднее отчуждена, но и без нее владение было громадно. Соседний с нею участок тот же Мамонов пожертвовал Благовещенской церкви. На него выходили больничные окна. Помню войну между церковью и больницей. Церковная земля оставалась проходным пустырем с Тверской на Благовещенский переулок. Но к своим правам церковь относилась ревниво. Священники запрещали открывать больничные окна и тем более вылезать через них на церковную землю. Часть окон нашей квартиры выходила сюда. Из шалости мы, дети, это делали. Священники грозили наши окна заделывать. При нас происходили совещания доморожденных адвокатов: имеем ли мы право окна отворять, а священники имеют ли право их заделать? Никто этого точно не знал. Священники кончили тем, что насадили ряд тополей перед самыми окнами, чтобы закрыть от нас свет. Все это характерно для времени, когда богатств было так много, что использовать их не умели, но из-за них все-таки ссорились; когда никто не знал границ собственных прав, не умел их защищать и сражался домашними средствами.

На больничной земле стояло несколько зданий, но большая часть земли оставалась под двором и садами. Сад тянулся от самого Мамоновского переулка до Благовещенского. Посреди зданий был большой двор с часовней для покойников в центре. Кругом часовни было так много земли, что на дворе как на ипподроме можно было проезжать лошадей. А больничный священник, отец Георгий Соловьев так любил конское дело, что сам этим занимался к соблазну больных.

Земельное владение больницы представляло позднее колоссальную ценность, но в старое время стоило мало. Как в первобытном государстве предпочитали платить служилым людям землей, а не деньгами, так во время Мамонова Глазную больницу было легче снабдить ненужной землей, чем капиталами. Земля долго лежала втуне, в ожидании спроса, и ее можно было использовать только натурой. Весь персонал больницы, от высших до низших, имел в ней квартиры. В помещениях не было недостатка. Смешно было бы говорить о жилплощади. Мы сами были примером. Мой отец поступил в больницу еще холостым. По мере того как росла наша семья – а нас было восемь человек детей, – увеличивали нашу квартиру в разные стороны, проламывали стены, новые помещения присоединяли к прежней квартире, из кладовых под сводами делали комнаты; кроме фасада на Тверскую мы получили фасад еще на церковную землю. Места в больнице было достаточно еще для многих новых квартир. Оставались, кроме того, кладовые, подвалы, склады, в которых ничего не помещалось. Целый этаж был отведен под номера для больных, которые не хотели лежать в общих палатах. Этих номеров было так много, что большая часть их оставалась пустыми; во время перестроек и заразных болезней нас туда переводили. Позднее, когда земля стала дороже, стало ясно, что если главное здание по Тверской обратить в доходный дом, то можно было бы на месте ненужного сада и двора построить великолепную больницу по последнему слову науки. Но такой план превышал энергию распорядителей, а может быть, противоречил традициям, как план Лопехина в «Вишневом саду» разбить имение под дачи. Больница дожила до революции в том виде, в каком я ее помню с самого детства, с садами, допотопными постройками, с глубокими сводами, с толстыми сте-

нами, которых нельзя было бы прошибить шестидюймовыми пушками, с широчайшими лестницами, но зато без центрального отопления, с печами, топившимися дровами, для которых был устроен целый дровяной склад в центре владения; долго у нас не было проведенной воды и канализации. Помещались мы на главной улице города. Мимо наших окон весной тянулись роскошные выезды на катанье в Петровский парк; тут проходили коронационные шествия<sup>127</sup>. Каждую весну здесь шли с музыкой и барабанным боем войска на Ходынку, а летом с 6 часов утра по Тверской начинались мычание коров и свирель пастуха. Это московское стадо шло за заставу.

Характер «доброго старого времени» лежал и на системе управления нашей больницей. В 1895 году умер отец<sup>128</sup>. Тогда мы из больницы уехали, и я в нее больше не заходил. Но до 1895 года все было без перемен и везде сидели те же самые люди. Они все были типичны.

Председателем Совета, главного органа больницы, был глубокий старик, знаменитый в Москве своей старостью Г. В. Грудев. За эту старость ему оказывали почет. При приездах в Москву Александр III его отличал как московского «патриарха». Он свои годы скрывал. Сначала признавал 84 года и на них много лет оставался. Позднее стал молодиться и перешел на 70 лет. Из его послужного списка знали, однако, что на государственную службу он поступил при императрице Екатерине II<sup>129</sup>. В котором году и скольких лет – сведений не было; а в те годы на службу записывали иногда новорожденных. Но с Грудевым, по-видимому, это было не так; об этом он сам уморительно пробалтывался. Раз у нас за завтраком, вспоминая старые годы, он рассказал, как оказался примешан к делу декабристов. Он к ночи вышел на Сенатскую площадь и по просьбе кого-то из раненых дал ему булку. Тотчас он был арестован. Его расспрашивали, кто он такой, чем занимается и зачем давал хлеб мятежнику. Грудев с наивностью объяснил, что Евангелие велит голодающих накормить. Через несколько недель ему объявили, что справки о нем благоприятны, что его заявления подтвердились и что он может идти. Но отпустили его с головомойкой: «Как вам не стыдно, – сказал ему председатель, – в этом бунте участвуют только мальчишки; вы же пожилой человек, и вы с ними спутались». Итак, в 1825 году Грудев уже был пожилым человеком. Александр III при приеме его как-то спросил, помнит ли он 1812 год; Грудев ответил: «Как же, Ваше Величество? Ведь это недавно. Как вчерашний день помню»<sup>130</sup>. Это не мешало ему в 1890-х годах утверждать, что ему только 70 лет. Для своих лет он хорошо сохранился. У него были все волосы, без признаков плеша, только белые, как выпавший снег; все лицо было в мелких морщинах. Он горбился, ходил опираясь на палку. Жевал губами, когда молчал, и чавкал, когда говорил. Он на моей памяти заболел воспалением легких. Все ждали конца. Но он оправился и всех своих товарищей пережил. Умер он после 1905 года<sup>131</sup>, когда я уже не жил в Москве. Каким я его помню в самые детские годы, таким он оставался и позже; может быть, немножко больше сгибался и более глух. Несмотря на старость, общественную службу он продолжал; оставался гласным Думы и губернского земства<sup>132</sup>. На собрания ездил всегда, сидел до конца и нередко принимал участие в прениях. Но память и слух ему изменяли. Он говорил не по вопросу, часто по делу давно уже решенному. Из уважения к его старости ему не мешали. Даже такой резкий человек, как московский городской голова Н. А. Алексеев, когда Грудев во время чьей-либо речи подымался со стула, делал знаки оратору, вполголоса говоря: «Подождите», и делал вид, что Грудева слушает. Когда он садился – продолжал прежнее заседание. До конца своих дней Грудев

<sup>127</sup> Имеются в виду коронационные шествия 1883 и 1896 гг.

<sup>128</sup> Алексей Николаевич Маклаков скончался 4 мая 1895 г.

<sup>129</sup> Г. В. Грудев родился в 1796 г., то есть в год кончины Екатерины II.

<sup>130</sup> Г. В. Грудев участвовал в Отечественной войне 1812 г., будучи записан в Костромское ополчение, с которым дошел до Вильны.

<sup>131</sup> Г. В. Грудев умер в 1895 г. в возрасте 99 лет.

<sup>132</sup> Имеется в виду Московское губернное земство.

был страстный садовод. Он жил в особом флигеле больницы, выходившем в Благовещенский переулок, со своим особым садом, отрезанным от главного сада в его единоличное распоряжение. В этот сад никого не пускали; сам он им очень гордился и занимался разведением разных новых цветов. Быть допущенным в этот сад было знаком особого расположения.

При Грудеве в качестве хозяйки жила его племянница С. В. Якимова, седая старушка, уже за 70 лет. По привычке она считала себя около дяди маленькой девочкой. Она иначе не называла себя в письмах и разговорах, как племянницей Грудева. Она дошла до того, что на визитных карточках заказала этот титул. Старый М. П. Щепкин, острый на язык, получив подобную карточку, при случае послал ей свою, на которой выгравировал: «Крестный сын покойного Голохвастова»<sup>133</sup>. Она насмешки не поняла и пришла к нам спрашивать, какой это был Голохвастов?

Конечно, все это трогательно. Но характерно для старины, что человек, который, очевидно, уже ничего делать не мог, стоял во главе такого живого и нужного дела, как единственная Глазная больница Москвы. Иллюстрация того, что высшее начальство было часто в России простой *декорацией*, а для *дела* было ненужно. Это же освещает и тогдашние нравы. Никого не соблазняло, что Грудев несет ответственный пост; наоборот, все бы нашли неприличным его за старостью лет удалить. Занимать это место было его «приобретенным правом», которого нельзя было отнять. Государственная служба не была служением делу.

Для столетнего старца закон мог быть не писан; но Грудев исключением не был. Если он явно для всех был «декорацией», то подобным же начальником больницы, заведовавшим ее хозяйственной частью, был другой «генерал» – Г. И. Керцелли<sup>134</sup>. Толстый, с шарообразной головой, с круглыми глазами, плоским черепом, покрытым прилизанными седыми волосами, с короткими баками на трясущихся толстых щеках и пробритой дорожкой от рта по подбородку, он был главной фигурой больницы. Все утро сидел в «канцелярии», за большим зеленым столом, и читал то «Московские», то «Полицейские ведомости»<sup>135</sup>. Их читал он всегда, но кроме них, вероятно, ничего не читал. Не знаю, где он получил образование; когда он пытался произносить иностранные слова, то даже мы – дети – смеялись. Он был чиновник николаевской службы, действительный статский советник, чем очень гордился. Когда он получил орден, который по статуту сопровождался письмом за подписью государя, он отслужил молебен по этому поводу и ходил всем подпись показывать. Низшим служащим больницы он внушал почтительный страх. Говорил всегда и со всеми таким голосом, как будто за что-то отчитывал. Простейшие разговоры его были обстоятельны и скучны, как служебный доклад. Даже когда он рассказывал смешные вещи, никогда не могло быть смешно. Впрочем, важность его была внешняя. По существу он был добряком и в домашней обстановке все трунили над ним и его генеральской манерой. Его в шутку звали не Гаврил Иванович, а Рыло Иванович. Как настоящий старый чиновник, к своему начальству он был почтителен, одобрял все, что оно бы ни делало. Я говорил, как он радовался, что в Манифесте 29 апреля [1881 года] конституции не было; если бы была конституция, он и от нее пришел бы в восторг. Внешне он был представителен. Был церковным старостой больничной церкви, подпевал певчим, а по торжественным дням, в вицмундире и с орденами на шее, подтягивая толстый живот и извиваясь всем станом, с любезной улыбкой обходил с тарелкой молящихся. Он служил еще в Страховом обществе<sup>136</sup> и всегда рассказывал о страховых делах, хотя это ни для кого не было интересно.

<sup>133</sup> Д. М. Голохвастов (1796–1849), в 1847–1849 гг. занимавший пост попечителя Московского учебного округа, был одногодком Г. В. Грудева.

<sup>134</sup> Г. И. Керцелли имел гражданский чин действительного статского советника (4-го класса), эквивалентный военному чину генерал-майора.

<sup>135</sup> Имеется в виду ежедневная газета «Ведомости Московской городской полиции», выходившая с 1848 г. В 1905–1917 гг. издавалась под названием «Ведомости Московского градоначальства и столичной полиции».

<sup>136</sup> Московское страховое от огня общество (МСОО) – основанное в 1858 г. одно из наиболее крупных обществ Российской

Его досуги пополняли карты, к которым он относился серьезно, как к службе, отчитывая партнеров за неудачные ходы. Такова была главная персона в больнице. Но ни чтение «Ведомостей» в канцелярии, ни генеральский чин и наружность, ни почтительность к высшим, ни грозные окрики на низших недостаточны, чтобы управлять сложным делом. И Керцелли тоже был декорацией меньшего калибра, чем Грудев.

В старину всем распоряжались маленькие незаметные люди. Россией управляют столоначальники, говорил сам Николай I. В больнице главным работником был ее эконоом Алексей Ильич Лебедев. К нему обращались за всякой надобностью. Он был общим поверенным и исполнителем. Ни в чем никому не отказывал, на все находил время и какие-то ходы и связи. Человек простой, нечиновный, он приходил к главным лицам больницы не в гости, а только по делу. Но на нем все держалось. Что бы ни случилось, я всегда слышал фразу: «Надо сказать Алексею Ильичу». Небольшой, тщедушный человек, веселый, не унывающий, он не показывал вида, что свое положение понимает, но все управление шло *через него*. Когда я был уже студентом, я с ним ближе сошелся. Он был страстный охотник, хотя охотился редко, а стрелял совсем плохо. В минуты откровенности он мне показывал, что отлично понимает недостатки больницы и ее управления; понимал и то, что сам мог бы на этом наживаться вполне безопасно. Но он был человек честный и в то же время нетребовательный; состояния он себе не приобрел и за ним не гнался. Но только благодаря ему машина не останавливалась. Но, конечно, не ему было делать в больнице нововведения, ломать заведенные порядки. Все шло по наторенным издавна путям. На этом держался консерватизм того времени и нерасположение к новшествам. Рутинная жизнь была еще совершенно возможна в то время.

У него был незаменимый помощник, без которого так же трудно было себе представить больницу, как вообще «генеральскую» Россию – без щедринского «мужика». Это был больничный швейцар В. М. Морев – николаевский солдат, с четырьмя крестами и медалями на Георгиевских лентах. Кресты он получил за Венгерскую кампанию 1848 года<sup>137</sup> и за Севастополь<sup>138</sup>. Удивительные типы создавало то жестокое время! Морев был горд, что прожил всю жизнь солдатом при Николае; на новых солдат смотрел не без презрения: «Что они понимают!» Ему было уже тогда много лет, но он казался мощной фигурой, полным здоровья и сил, с поредевшими, но не седыми волосами, с большими усами и достойным представительным видом. Как его хватало на все? О меньшей братии тогда мало заботились. Не было ни американских ключей, ни электрических проводов; надо было ему самому открывать входную дверь. Он не ложился спать, пока все домой не возвратилось. Мне случалось в студенчестве возвращаться под утро, и звонком я его подымал с деревянной скамьи, на которой он прикурнул. Если я был последний, он при мне уходил к себе спать. Сколько раз я пытался с ним сговориться, завести себе второй ключ. Он не хотел слышать про это; «что вы, помилуйте, я тут сплю отлично; а на мне вся больница». Действительно, двери нашей квартиры в швейцарскую не запирались, и теперь я не понимаю, почему мы не были дочиста обворованы и спали спокойно с охраной *одного только* Морева.

Ежедневное ночное дежурство не мешало Мореву раньше всех утром подняться. Если кому-либо надо было рано вставать, то достаточно было попросить Морева вовремя разбудить; он не проспит и не забудет. Все наперебой давали ему поручения, далеко выходившие за пределы его обязанностей. Не было случая, чтобы он от чего-нибудь отказался или чего-нибудь не умел. Когда его спросишь: «Можешь ли это сделать?» – он презрительно отвечал: «Николаевский солдат, да не может?» И он все умел, портняжил, сапожничал, столярничал, клеил и т. д. Когда я поступил в гимназию и в первый раз шел на урок, Морев внимательно осмот-

империи, занимавшихся страхованием от пожаров.

<sup>137</sup> Имеется в виду поход 1849 г., во время которого в апреле – августе этого года русская армия содействовала армии Австрии в подавлении восстания в Венгрии.

<sup>138</sup> Подразумевается Крымская война 1853–1856 гг., во время которой происходила оборона Севастополя.

рел мою обмундировку, многого не одобрил и переделал. Переменил ремни на ранце, в незаметных местах шинели вшил лоскутки с фамилией, чтобы пальто не подменили. Он повсюду искал сам работы; не мог оставаться без дела. В праздничные дни, когда больничная церковь наполнялась московским beau monde<sup>139</sup>, он с искусством, без номерков, умел всех запомнить, узнать и подать каждому его шубу.

Ребенком я расспрашивал Морева про войну; допытывался, случалось ли ему убивать человека? Он вспоминал неохотно и от прямого ответа отвиливал: «Лучше не спрашивайте». Зато рассказывал про дисциплину, про строгости; описывал, как наказывали шпицрутенами; но вспоминал все без озлобления. «Много нас учили, но зато уже и научили. Где вы найдете человека, как николаевский солдат? Разве теперешние в четыре года могут чему-нибудь научиться?»

Привычка к дисциплине в него въелась очень глубоко. Он был счастлив титуловать Керцелли «превосходительством», и его генеральская манера его только радовала. Когда мой отец был сделан действительным статским советником и Морев стал титуловать его «превосходительством», то на возражение отца он обиделся: «Что вы, помилуйте, я ли порядков не знаю?»

По должности Морев был только швейцаром, как Алексей Ильич экономом. Но фактически он был начальником над всем низшим персоналом больницы. Его все уважали, да и боялись. Он был настоящий унтер-офицер над солдатами. Он разносил, ругал, может быть, бил; еще больше стыдил всех примером. Но он никогда ни на кого не пожаловался. Это было бы для него унижительно, признать неумение справиться; это было и не по-товарищески. Он раз пенял при мне на своего помощника. Я сказал: «Что ты не расскажешь Алексею Ильичу?» – «Что вы, разве на маленького человека можно жалиться?»

Конец Морева вышел трагичный. С ним жила жена, худенькая, маленькая старушка, перед ним трепетавшая, не называвшая его иначе, как «Василий Михайлович» и «вы». У них было двое детей, сын и дочь, которых он образовал и вывел в люди. Он остался с женой один, но когда его жена умерла, старик этого не пережил и с горя запил запоем. Было больно смотреть, как он ходил с красным опухшим лицом, без всякого повода плакал, все забывал и путал, но не хотел уступать своего дела другим. Ему дали отпуск, поместили в больницу, лечили. Но все было напрасно. Пришлось его рассчитать; он где-то сам лечился и вылечился. Через несколько месяцев вернулся здоровый, его опять взяли на место. Он отслужил торжественный молебен, удвоил усердие, но болезнь не прошла. Он снова запил, и – что хуже – из карманов шуб стали пропадать разные мелочи. Он снова и уже навсегда ушел из больницы; не знаю, как и где он кончил. Это был, конечно, уже вымирающий тип прежнего времени, как старые крепостные или дворовые. В 1880-х годах они еще были. И там, где они сохранялись, на них все держалось. Это было символом *старой* России.

Я говорил про управление хозяйственной частью больницы; но оставалась еще ее врачебная часть. В 1860-х годах в этом отношении произошло, как и везде, крупное преобразование; весь устаревший персонал был обновлен. Но новое вино скоро разложилось в старых мехах.

Главным врачом был профессор университета Густав Иванович Браун. Почтенный старик, с толстой шеей, красным лицом, седой подстриженной бородой и с золотыми очками, покрывавшими добрые голубые глаза. Он держал себя совсем стариком, ходил медленной походкой, кряхтел и гримасничал, когда вставал или садился. Он мало работал в больнице, полагаясь во всем на других. Ежедневно заходил в приемную на короткое время и тотчас уходил, извиняясь, что у него «неотложное дело». Это он повторял каждый день. Все это заранее знали, но этот ненужный декорум он соблюдал ежедневно; свои занятия в больнице он ограничивал чтением лекций. Было странно подумать, что когда-то он приехал в Москву молодым ученым, подававшим надежды, полным сил и энергии; был учителем почти всех мос-

<sup>139</sup> большим светом (фр.).

ковских офтальмологов. Постепенно он успокоился, изменился, растолстел, перестал работать и нес службу, не волнуясь и не кипятясь, чтобы не портить здоровья. Он равнодушно смотрел, как больница отставала, противился всякому нововведению. «Знаете ли что? – отвечал он на все предложения. – Мы лучше подождем».

В 1890-х годах стали строить клиники на Девичьем поле. От Брауна зависело устройство Глазной клиники. Но он ею не интересовался. Не отстаивал кредитов на нее, не следил за архитектором, со всеми урезками соглашался, не собираясь использовать этого случая, чтобы создать больницу современного типа. Он, впрочем, понял, что с его стороны это нехорошо, и передал заботы о клинике моему отцу, который по его плану должен был заменить его в профессоруре. Он этот план выполнил, хлопотал о назначении отца на свое место, а пока поручил ему следить за устройством клиники. Сам же этим он интересовался так мало, что, насколько помню, не был даже на торжестве открытия клиники, не из-за недоброжелательства, а просто по лени. Браун был честный, хороший, культурный немец, который обрусел, приспособился к медлительным темпам русской жизни и не любил зря волноваться и беспокоиться. Он никому не делал зла и неприятностей, но и не видел надобности не только тянуть служебную лямку, а и стараться приносить ей пользу. Сам он был богат, имел в Москве несколько доходных домов, в больнице занимал большой особняк по Мамоновскому переулку, с большим ему отведенным садом, и хвастался тем, что «экономен». Любил играть в карты, но непременно по маленькой, ходил каждый вечер ужинать в Английский клуб, выбирая самые дешевые блюда. В нем было много комичного. Как обруселый немец, был горячим русским патриотом и из патриотизма всегда во всем соглашался с правительством. Говорил с резким немецким акцентом, употреблял мягкое немецкое «х» вместо «г» («холобчих»), считал себя большим знатоком русского языка и немилосердно перевирал поговорки. Много его изречений перешло в юмористическую литературу. Это он говорил: «пуганая ворона дует на молоко» или «наплюй в колодец, после будешь воду пить», «не стоит выеденного гроша», «у нищего сумму отнял» и т. д. По наивности он позволял себе выходки, о которых потом все говорили. Как-то в присутствии посторонних гостей он все вздыхал; его спросили, что с ним? Он ответил: «Эх, не хорошо-с; Юлинька с рук нейдут-с». Юлинька была его старшая дочь, которая, несмотря на отличное приданое, не находила себе жениха. Это свое семейное огорчение Браун считал нужным публично *всем* сообщить. Другой раз у него в кабинете играли в карты. Его лакей пришел его о чем-то спросить втихомолку. Тугой на ухо Браун не расслышал; он попросил гостей замолчать. Лакей продолжал шептать на ухо, но Браун все не понимал. «Господа, – сказал он, – вийте-ка на минуточку, мне нужно Ивану два слова сказать». Никто не обиделся; это было чистым Брауном. Он первый отпраздновал свой юбилей, но товарищей своих пережил; он умер, когда я уже не жил в больнице.

Во время моей жизни в больнице я был слишком молодой, чтобы о ней судить; помню, что мой отец досадовал на невозможность добиться в ней улучшений, на то, что его товарищи всегда находили причину все оставить по-старому. У моего отца была повышенная склонность ко всяким техническим новшествам: в этом отношении он мог быть пристрастен. Но, вспоминая фигуры хозяев больницы, я сознаю, что они могли жить только по старым традициям. Если они с делом справлялись, то потому, что патриархальный быт, привязанность к старому и низкий *standard of life* были в нравах русского общества. Конкуренция, необходимость приспособляться к общественному мнению были только в зародыше. Всем казалось естественно, что во главе хозяйства стоят ничего не делающие тайные советники, а что вся работа лежит на маленьком экономе. Никого не коробило, что старик Морев один работал за десятерых. Это казалось столь же нормальным, как [и] то, что больница своих богатств не использовала, что у нее в самом центре города были сады, стены, напоминавшие крепость, готические своды

в *rez-de-chaussée*<sup>140</sup>, громадные кладовые и в то же время никаких современных удобств. Больница не была исключением; этот уровень жизни, ее медлительный темп, благодушная уверенность, что иначе невозможно, и отсутствие необходимости переходить к более совершенным, а потому и трудным методам общежития были общим явлением 1880-х годов. Для такого порядка жизни годилось и самодержавие. Перемена жизни России произошла не от политической пропаганды, а от простого роста населения, от улучшения техники, осложнения экономической жизни, с которыми самодержавие справиться не сумело, как не сумела позднее наша больница справиться с появившейся конкуренцией. Но учреждения против нравов запаздывают и приходят с ними в конфликт. Однажды, кажется, в «Русском курьере»<sup>141</sup>, появилось юмористическое описание приема в нашей больнице за подписью барона Икс<sup>142</sup>. Оно было шаржем не вполне справедливым. Но оно *возмутило* наше начальство: «Как посмели так писать о государственном учреждении?» Хотели ехать жаловаться генерал-губернатору. К счастью, от этого удержали. Одна из черт патриархального быта состояла в том, что обществу критиковать не полагалось; его дело было благодарить за заботы о нем. Эта черта у всякого начальства была общая с самодержавием.

А нельзя не сказать, что тогда считалось нормальным многое, что сейчас бы показалось чудовищным. В больнице была домовая церковь; и в эту больничную церковь не пускали *больных*. Они могли присутствовать только на хорах да приоткрывали двери в соседние палаты, и туда могла издали доноситься церковная служба. Самую же больничную церковь наше начальство превратило в светскую домовую церковь для избранного московского общества. Приходившие сюда знатные люди не из чего не могли бы догадаться, что находились в больнице. Разве в Великую Пятницу и в Пасхальную ночь, когда крестный ход проходил по больничным палатам, откуда больных удаляли, то по отодвинутым к стене кроватям и надписям можно было понять, что это были палаты больных. Больные же удалялись еще дальше, благо помещений было много, и на крестный ход могли смотреть только через щелку двери. В церкви же публика была отобранная, аристократическая, не рисковавшая тем, что окажется рядом с простолюдином. И Керцелли со сдержанным восторгом в лице встречал высокопоставленных лиц, приказывал подавать им стулья по рангу и благодарил за посещение. Никому в то время не казалось скандальным, что церковь в больнице считали не местом утешения для слепнувших и слепых, а модною церковью для *beau-monde'a*. Не было протестов не только со стороны этого *beau-monde'a*, который мог бы понимать, *что* он делает, но и со стороны самих больных, печати и т. д. Прежние нравы не были все унесены горячкой 1860-х годов и еще сидели в душе. Не исчезло разделение на белую и черную кость. Помню и другие проявления этого. Огромный больничный сад был разделен на три части, из которых две лучшие и большие были отведены Грудеву и Брауну; для больных оставалась только средняя часть, меньше других. В этой части были построены летние бараки и туда переводились на лето больные; сад был так велик, что и эта часть для больных тесна не была; но сравнение с великолепным и большим садом, куда больных не пускали, должно было бы их возмущать. Когда я был студентом, я об этом заговорил с Керцелли. Он весело рассмеялся, видя в этом с моей стороны ребячество, для моего возраста извинительное.

Эти несимпатичные черты «барства» были только обратной стороной того навеки исчезнувшего прошлого, которое доживало последние дни в 1880-х годах. Юность наблюдает не только отцов, но и дедов, и прадедов. Мы, поколение девяностых годов, помним не только шестидесятников, наших отцов. Мы застали еще некоторые красочные фигуры людей сороко-

<sup>140</sup> первом этаже (*фр.*).

<sup>141</sup> «Русский курьер» (Москва, 1879–1889, 1891) – ежедневная общественно-политическая газета.

<sup>142</sup> В. А. Маклаков, вероятно, ошибается, поскольку Барон Икс – псевдоним журналиста С. Т. Герцо-Виноградского, публиковавшегося в одесских газетах.

вых и даже тридцатых годов. В наши зрелые годы они исчезли со сцены, но тогда на них был еще особенный колорит уже нам непонятного времени.

Помню, например, старого человека, который у нас часто бывал; приезжал даже в деревню специально собирать грибы. Мы, дети, называли его обезьяной. Он был страшного, дикого вида, с всегда растрепанной шевелюрой, строгими глазами, которые смотрели на нас поверх золотых очков, нахмуренными бровями, седыми волосами, растущими на щеках, на горле и из ушей, с резким голосом, так что казалось, что он со всеми бранится, и ежеминутными вспышками раскатистого хохота. Все обращались с ним с особым почтением, а он всех всегда разносил, не объясняя причины. Нам нравилось, что от него так попадает и старшим. Я поинтересовался узнать, почему ему *все* позволяют? Мне объяснили, что это главный доктор Москвы. Такой ответ был понятен, но я удивлялся, почему же тогда *нас* лечат не у него? Это был не главный доктор, хотя он был врачебным инспектором<sup>143</sup>.

Это был знаменитый Н. Х. Кетчер. Позднее в нашей библиотеке я нашел на полках много неразрезанных томов перевода Шекспира, подписанных фамилией Кетчера<sup>144</sup>. То, что он написал столько книг, его в моих глазах подняло. Но я не понимал, зачем он переводит, а не напишет чего-нибудь сам. За разъяснением этого недоразумения я к нему обратился. Он загрохотал своим хохотом: «А ты думал, что я напишу лучше Шекспира?» На свой перевод он положил много труда, но, насколько помню, перевод никуда не годился. П. Шумахер написал про него четверостишие<sup>145</sup>:

Вот еще светило мира,  
Кетчер, друг шипучих вин,  
Перепер он нам Шекспира  
На язык родных осин.

Кетчер любил выпить, особенно шампанского. Тогда он много рассказывал, как всегда кричал и хохотал. Эти рассказы про старину в то время меня не интересовали. Как бы я хотел их послушать позднее!

Помню другого старика, чьи стихи сейчас я цитировал, – Шумахера. Долго мы его знали только по имени Петр Васильевич. Толстый, обрюзгший, с русой головой, еле подернутой серебром на висках, без признака лысины, без бороды, с мешками под глазами, вечно страдавший подагрой. Он приходил очень часто и всегда оставался подолгу; пока старшие были заняты, он молча сидел и курил янтарную трубку, с необыкновенным искусством пуская дым кольцами; то читал какую-нибудь книжку, то разговаривал с нами, детьми. Он нам рассказывал интересные и неожиданные вещи то про Сибирь, про места, где никто еще не жил, где звери и птицы человека совсем не боялись. Рассказывал, как однажды дикий олень к нему подошел со спины так тихо, что он не заметил, пока не почувствовал его дыхание уже на шее; в то время он был золотопромышленником и искал золотых россыпей в диких местах. То рассказывал, как служил при генерал-губернаторе Милорадовиче и как тот, подписывая подорожные, делал густой росчерк, бросая тут же перо (конечно, гусиное), а он должен был это перо подымать и обстригать<sup>146</sup>. Это был недостаточно оцененный и еще менее себя сам ценивший поэт П. В. Шумахер. Никто как следует не знал его прошлого. О нем можно было только догадаться

<sup>143</sup> Это было тоже для Москвы характерно. Какая связь осталась у него с медициной? Но он был Кетчер, и его из почтения посадили на место, где он, конечно, был ни к чему.

<sup>144</sup> См.: Драматические сочинения Шекспира: В 9 ч. М., 1862–1879.

<sup>145</sup> По другим сведениям, автором этой эпиграммы являлся И. С. Тургенев (см.: *Левин Ю. Д.* Кетчер Николай Христофорович // *Русские писатели 1800–1917: биографич. словарь.* М., 1992. Т. 2. С. 530).

<sup>146</sup> В действительности П. В. Шумахер служил при генерал-губернаторе Восточной Сибири графе Н. Н. Муравьеве-Амурском.

по отдельным его рассказам: так, он был когда-то богатейшим золотопромышленником, а в какое-то другое время маленьким чинушей при генерал-губернаторе, и на нем был отпечаток старины. Как-то, еще не будучи гимназистом, я должен был вместе с ним поехать в наше имение. Я нашел его на вокзале, беспомощно сидящим, с багажом на скамейке. Он не сдал багажа и билета не взял. Я все это сделал. Он стал хвалить новое поколение, удивлялся, как это мы умеем сами все делать? «А нас как воспитывали, – говорил он, – ездили мы с целой ротой слуг, ничего сами не знали. Нам и подорожную пропишут, и зрителя запугают, и лошадей достанут; зато теперь мы ничего и не умеем». В мое время он был разорен и жил гостеприимством друзей. Для него делали литературно-музыкальные вечера, где выступали лучшие артисты. Там я слышал еще совсем молодую М. Н. Ермолову; на них приезжал И. Ф. Горбунов, которого мне только там удалось услышать. Но прежнее гостеприимство становилось не по карману. В последние годы П. В. Шумахера поместили в Странноприимный дом Шереметьева, дали ему синекуру – должность библиотекаря с жалованьем. Он получил доступ к книгам и был бесконечно доволен. Там он и умер. После его смерти я узнал не без изумления, что этот типично «русский» человек был лютеранином и потому погребен на Введенских горах.

Он был на редкость начитанным и образованным человеком; говорил на всех языках, много бывал за границей; был знаком с массой интересных людей (у него не прекращалась переписка с Тургеневым<sup>147</sup>). Но когда я его знал, он жил московской жизнью, ничем не занимался; первую половину дня сидел дома в халате, а на вторую собирался к кому-нибудь из знакомых и до ночи пил с друзьями вино, потешая каламбурами и остротами. Он был несравненно интересней и выше своей обычной среды и в ней опускался; он это хорошо сознавал, но к этому был равнодушен. По природе он был наделен редким юмором; вся манера его говорить серьезно, как бы вдумчиво, медленными фразами, из которых вдруг выскакивала неожиданная шутка, была для него характерна. Как-то у него болел палец; отец нашел, что нужно прижечь ляписом. «А у вас ляпис есть?» – осведомился он с интересом. «Есть», – и отец открыл шкаф. «В таком случае не надо», – ответил Шумахер. Когда кто-либо передавал какой-либо слух или сплетню «из достоверных источников», Шумахер делал серьезное лицо и обстоятельно спрашивал: «А кто при этом был?» Все его рассказы о прошлом заставляли смеяться; во всем он любил и умел подмечать комический элемент.

Поклонник старины П. С. Шереметьев после его смерти издал книжку о нем и напечатал кое-что из его сочинений<sup>148</sup>; и при жизни его была выпущена тоненькая брошюрка его стихов под заглавием «Шутки последних лет»<sup>149</sup>. Там были перлы остроумия, которые грех забыть русской литературе; она, впрочем, до революции их и не забывала; забыт был только автор. «Записки русского туриста», «Не то», «Немецкая любовь», «Матушка Москва» часто читались на вечерах без упоминания автора. И это было ничтожной каплей того, что он вообще написал. Когда он проводил у нас лето в деревне, проходил редкий день, чтобы он по какому-либо поводу не написал шуточного стихотворения. Все это забывалось, выбрасывалось и терялось. Своих богатств мы не берегли. Кое-что оставалось в памяти, но забывалось. Так мне вспоминается одна его пародия на фетовское «Шепот, робкое дыхание»<sup>150</sup>. Привожу ее потому, что, кажется, она напечатана не была.

<sup>147</sup> Известны 20 писем И. С. Тургенева П. В. Шумахеру за 1872–1880 гг. и три письма Шумахера Тургеневу за 1872–1873 гг. См.: *Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма: В 18 т. М., 2000. Т. 12; М., 2015. Т. 16. Кн. 1 (см. по указ.)*.

<sup>148</sup> По-видимому, имеется в виду следующее издание: *Шумахер П. В. Стихи и песни. М., 1902.*

<sup>149</sup> *Шумахер П. В. Шутки последних лет. М., 1879. См. также: Шумахер П. В. Моим землякам: сатирические шутки в стихах: В 2 кн. Берлин, 1873–1880.*

<sup>150</sup> Имеется в виду написанное в 1850 г. стихотворение А. А. Фета «Шепот, робкое дыханье»: Шепот, робкое дыханье, Трели соловья, Серебро и колыханье Сонного ручья, Свет ночной, ночные тени, Тени без конца, Ряд волшебных изменений Милого лица, В дымных тучках пурпур розы, Отблеск янтаря, И лобзания, и слезы, И заря, заря!..

Незабудка на поле,  
Камень-бирюза,  
Цвет небес в Неаполе,  
Любушки глаза.  
Моря андалузского  
Блеск, лазурь, сапфир –  
И жандарма русского  
Голубой мундир.

Была другая причина, почему после Шумахера мало осталось. Редко стихотворение его было печатно. Мне говорил Шереметьев, что это очень ему мешало, когда он издавал свою книгу. Но было бы ошибочно думать, что у Шумахера был особенный вкус к непечатной литературе; это просто больше подходило к атмосфере шуток и смеха, в которую он себя умышленно ставил, чтобы не быть меланхоликом. Напротив, он был тонким писателем серьезной, даже классической литературы. Когда я перешел в 3-й класс гимназии и стал учиться греческому языку, он мне подарил редкое издание «Илиады» и «Одиссеи» XVII века в пергаментном переплете. На первой странице написал посвящение гекзаметром.

С детства до старости лет на мишуру все глядели  
Слабые очи мои, лучших не видел красот.  
Милостив к юноше Зевс, даровав ему высшее зренье  
И указав ему путь в область нетленной красоты.

*Васе Маклакову на память от старого хрена.*

Эта книга хранилась в нашей деревенской библиотеке. Ее сначала национализировали, а потом превратили в «народную» библиотеку. Можно представить, насколько эта книга там оказалась полезной.

Шумахер был бы оригинален повсюду. Жизнь его прошла через колебания большой амплитуды. Но он был все же типичен для России и особенно для Москвы старого времени; когда жили не торопясь, не толкаясь; когда «с забавой охотно мешали дела»<sup>151</sup>; когда люди вроде Чацкого попадали в сумасшедшие, в чем Грибоедов пророчески провидел судьбу Чаадаева; когда и время, и деньги, и таланты тратились без счета. Но в эти годы медленно уже шло молекулярное перерождение организма России. Исчезли типы покорных крепостных и дворовых паразитов, исчезали гостеприимные ленивые баре, появлялись *nouvelles couches sociales*<sup>152</sup>; прежние лень, благодушие и щедрость становились уже никому не по карману, жить становилось труднее и сложнее, уклад жизни требовал новых государственных приемов, которых не умело дать самодержавие. Все это настало позднее – 1880-е годы еще были «зарей вечерней»<sup>153</sup> прежней России.

Конечно, детские наблюдения односторонни; не я свою среду выбирал. Один мир был мне всегда чужд: это мир представителей власти, кроме опальных. Но в детские годы случайно мне пришлось немного прожить и в этом мире; он был того же стиля.

Я был в третьем классе гимназии, когда одна из моих сестер заболела дифтеритом. Детей из дому выселили. Я возвращался из гимназии, когда Морев меня домой не впустил и сооб-

---

<sup>151</sup> Строка из стихотворения графа А. К. Толстого «Поток-богатырь», которое было впервые опубликовано в 1871 г. в журнале «Русский вестник» (Т. 94. № 7. С. 253–259) под заглавием «Песня о Потоке-богатыре».

<sup>152</sup> новые социальные слои (*фр.*).

<sup>153</sup> Слова из стихотворения Ф. И. Тютчева «Последняя любовь», написанного в 1852–1854 гг.: О, как на склоне наших лет-Нежней мы любим и суеверней... Сияй, сияй, прощальный свет Любви последней, зари вечерней!

шил, что мы, трое братьев<sup>154</sup>, переселены в дом московского губернатора и что я, не заглядывая домой, туда должен идти. По дороге в гимназию я ежедневно ходил мимо этого дома с внушительным подъездом, со стеклянной дверью, за которой внутри был всегда виден жандарм. Я отправился туда не без смущения. Мы прожили там до лета. Этот губернаторский дом был тогда уголком той же патриархальной Москвы 1880-х годов. Губернатором был В. С. Перфильев, женатый на Прасковье Федоровне Толстой, дочери знаменитого «американца» Федора Ивановича Толстого, о котором писали и Грибоедов, и Пушкин.

Великолепный портрет этого Ф. И. Толстого с интересным и своеобразным лицом висел у них в гостиной. Перфильевы были одни (женатый их сын жил отдельно<sup>155</sup>) и взяли на себя заботу приютить трех мальчиков, из которых старшему, т. е. мне, было 12 лет. У них был целый свободный этаж (по-русски – третий), куда нас и поместили, приставив на уход к нам одного из курьеров. Сам губернатор, Василий Степанович, видный старик с красным лицом, хриплым голосом и одышкой, с длинными седыми баками, был одним из представителей высшего света, отличной фамилии, принадлежащей по рождению к верхам русского общества. Он был из типа администраторов, которых Л. Толстой вывел в лице Стивы Облонского. Я не раз слышал, что он имел в виду и его. Прасковья Федоровна была родственницей Льва Николаевича; и в первый раз в жизни я встретил Л. Толстого именно у Перфильевых. Он пришел туда в блузе, с легавой собакой, и меня удивляло, что так плохо одетый человек был на «ты» с губернатором. Стива Облонский к старости, когда он бы уже разжирел, когда не мог бы ни охотиться, ни увлекаться, вероятно, был бы таким, как Перфильев. Как Стива Облонский, Перфильев не хлопотал о карьере; по родству и связям с тогдашним правящим миром он не мог остаться без должности. Мало того, он мог ею и хорошо управлять. Потому что, как объяснял Толстой в «Анне Карениной», он был совершенно *равнодушен* к делу, которым занимался, и, следовательно, не мог бы ни увлечься, ни зарваться, ни наделать ошибок. А личная его порядочность, воспитанность и дружелюбное отношение ко всем сдерживали ненужное усердие его подчиненных. Позднее, когда жизнь осложнилась, этих качеств для администратора достаточно уже не было. Перфильев и не подошел к этому позднему времени, когда стало необходимо показывать непреклонность и нетерпимость. В его же время власть была еще настолько неоспоримой силой, что могла не быть ни высокомерной, ни жестокой. В то доброе старое время для успеха по службе не нужно было создавать себе «направления». Направление считалось принадлежностью *parten*<sup>156</sup>, и оно для Перфильева не было нужно. Все это Толстой отметил в разговоре Серпуховского с Вронским. Перфильев мог не бояться ни знакомства, ни дружбы с людьми, которые были на дурном счету в Петербурге, и за эту нетерпимость над Петербургом смеялся. Таков был не один Перфильев, но и все наши власти: и знаменитый московский генерал-губернатор князь В. А. Долгоруков, и обер-полицмейстер А. А. Козлов, и другие, которых я встречал у Перфильевых. Административная машина работала настолько правильно, что в переделках и не нуждалась. Все могло идти как шло прежде.

Этот тон высшего начальства усваивался и подчиненными. Правителем канцелярии у Перфильева был тогда В. К. Истомин, позднее управлявший канцелярией великого князя Сергея Александровича и ставший опорой реакционной агрессивной политики. У Перфильева он был, как и все, обходительным и добрым человеком, который никому не мог показаться грозой. Поскольку я мог наблюдать и понимать свои наблюдения, труд губернатора тогда не был головоломным. Помню по утрам многочисленных просителей в громадном приемном зале и чиновников в вицмундирах, которые принимали их со строгими лицами. В этих строгих

<sup>154</sup> У А. Н. Маклакова было трое сыновей – Василий, Николай и Алексей.

<sup>155</sup> Сын В. С. Перфильева, Федор Васильевич Перфильев, был женат на Марии Александровне, урожденной княжне Голицыной (1859–1921).

<sup>156</sup> выскочки (*фр.*).

чиновниках мне было бы трудно узнать вечерних партнеров в карты Перфильева. Иногда меня посылали звать его к завтраку; я заставлял его за бумагами, которые он подписывал не читая. На мое любопытство, как он может так делать, он объяснял едва ли с полной искренностью, что он их все уже раньше прочел. Иногда в окно, выходявшее на лестницу, ведущую к нам, в третий этаж, я видал заседания присутствия под его председательством<sup>157</sup>; оживленные споры; говор и хохот, что мало вязалось с детским представлением о государственном деле. После обеда, по-тогдашнему – в 6 часов, у Перфильева был только один вопрос – где он будет играть. Без карт по вечерам его себе представить было нельзя. Он либо шел через улицу в Английский клуб, или играл у себя со своими чиновниками. Через несколько лет Перфильев, как-то бывши на ревизии, неожиданно приехал к нам в имение. Несмотря на прекрасную погоду, после ужина был поставлен карточный стол и из кого-то составили партию, хотя в это время сам отец никогда не играл. Без карт Перфильеву нечем было бы время занять.

А в молодые годы Перфильев, говорят, был живым, веселым и остроумным; великолепно танцевал и, как говорили, вообще был повесой. Его жена рассказывала, что однажды он проиграл даме, за которой ухаживал, пари *à discrétion*<sup>158</sup>; она в насмешку потребовала, чтобы он съел сырую мышь, и он это сделал, но был огорчен тем, что она после этого из брезгливости танцевать с ним не стала. Из прежних талантов его у него сохранился один: он умел виртуозно расшифровывать шифр. Стоило вместо букв написать ему короткую фразу условными знаками – он тотчас ее разбирал. Когда я в первый раз, по совету его жены, подал ему такую записку, он обрадовался, что мог потряхнуть стариной. В несколько минут ее разобрал, несмотря на ошибку, которую он тут же заметил. Так русская барская жизнь того круга, который тогда правил Россией, формировала симпатичные типы добрых людей, которые вертели колеса налаженной административной машины без оживления и одушевления, не требуя от других низкопоклонничества и себя не роняя угодничеством. Консервативные по темпераменту, эти администраторы не приходили в озлобление ни от либеральных людей, ни [от либеральных] идей, и их не считали опасными. Это были администраторы мирного, не боевого времени. Позднее, при начавшейся борьбе общества с властью, они оказались негодными, ушли сами или их заставили постепенно уйти. Началось иное время, разделение всего общества на два лагеря, и стали почитать тех, кто умел и любил воевать.

Несколько слов о жене губернатора, Прасковье Федоровне. У нее была сестра Сарра, портрет которой я видел у них в гостиной. Эта сестра была замечательной красавицей, любимицей отца, и из недомолвок я догадывался, что она погибла рано какой-то трагической смертью<sup>159</sup>. Сама же Прасковья Федоровна была образованной, светской, воспитанной, но ничем не замечательной и очень некрасивой женщиной. Ей было скучно жить; ни принимать, ни выезжать она не любила. Ее досуг наполняли собачка King Charles<sup>160</sup>, обезьяна Уйстити и вечное раскладывание пасьянсов. Мы, чужие дети, явились для нее не столько заботой, сколько неожиданным развлечением. Она усердно каждый вечер обучала нас светским манерам. У меня к этому способностей не оказалось, но брат Николай, будущий министр<sup>161</sup>, это любил, многому у нее научился, и она его за это очень ценила. У нее было привычное в старой высшей аристократии благожелательное отношение к низшим. Представители этого круга были так уверены в прочности своего положения, что низших не боялись и могли позволить себе роскошь благожелательства. Жестокое отношение к ним могло возмущать, как возмущает жестокость к животным. Таков был и ее грозный отец Американец Толстой. На это она любила указывать.

<sup>157</sup> Губернское присутствие – коллегиальный орган при губернаторе, председателем которого он являлся.

<sup>158</sup> по усмотрению (*фр.*), то есть выигравший пари по своему усмотрению выбирает, что должен сделать проигравший.

<sup>159</sup> Графиня Сарра Федоровна Толстая скончалась на 18-м году жизни от туберкулеза.

<sup>160</sup> Король Карл (*англ.*).

<sup>161</sup> Речь идет о Николае Алексеевиче Маклакове, который в 1912–1915 гг. занимал пост министра внутренних дел.

Молодой девушкой она однажды с ним каталась верхом; они встретили 80-летнего мужика, с которым ее отец разговаривал. Она уронила платок и сказала старику: «Пожалуйста, подымите платок». Ее отец сказал ей: «Vous aurez bien pu le faire vous même»<sup>162</sup>, – и незаметно пре-  
 больно хлестнул ее хлыстом по руке. Впрочем, такое уважение к старости, вероятно, не мешало Американцу Толстому непослушных засекал на конюшне.

Так в 1880-х годах нам еще приходилось видеть представителей отошедшей в вечность эпохи дореформенной России. Но они исчезали из государственного аппарата и из общества одновременно с богатыми усадьбами, особняками, властным поземельным дворянством и скромным «именитым купечеством». На смену им шли новые типы удачливой, предприимчивой, знавшей цену себе «демократии», которых звали тогда «разночинцами». Обострялась борьба за существование, в политике возникали «вопросы», о которых не снилось благодушным представителям старых патриархальных властей.

Конечно, среди общества были люди, которые понимали, что происходит, и мечтали сдвинуть политику в новую сторону еще тогда, когда «освободительное движение» не начиналось. Сравнивая этих людей с позднейшей эпохой, я не могу не отметить одной их особенности. Они не только не сводили всего к борьбе с самодержавием, не считали, что уничтожение его есть предварительное условие всякого улучшения. Они часто предпочитали самодержавие конституционному строю.

В 1880-х годах людей с подобными взглядами не нужно было искать только среди реакции; их можно было видеть повсюду, среди разнообразных партий и направлений. Я для иллюстрации приведу два примера совершенно различных формаций.

Возьмем среду славянофильства. Помню, с каким безусловным осуждением конституционалисты к ним относились. Они разоблачали славянофильство с не меньшей страстностью, с какой коммунисты долго клеймили социал-демократов. Социал-демократов коммунисты обвиняли за «соглашательство» с буржуазией. Славянофилов винили тогда за преданность самодержавию. Но и самодержавие относилось к славянофильству не лучше, чем конституционалисты. «Приятие» самодержавия не мешало славянофилам его политику обличать. Этого самодержавие им не прощало. Так было при Николае I, так было и позже. Александр III при вступлении на престол мог сказать А. Тютчевой несколько лестных слов по адресу статей ее мужа И. С. Аксакова, но его *политике* он не последовал<sup>163</sup>. А вдохновителей реакции славянофильская критика того времени была больше, чем конституционные аргументы; точно так, как для коммунистов обличения социал-демократов теперь чувствительней, чем негодование легитимистов.

Вспоминая позицию славянофилов в эпоху восьмидесятых годов, я не могу признать, чтобы нападки на них были ими заслужены. Стремление славянофилов исправить самодержавие могло быть полезно. Сужу так потому, что в мои юные годы мне пришлось близко знать одного незаурядного славянофила, Павла Дмитриевича Голохвастова.

Он был нашим ближайшим соседом по имению и местным мировым судьей. Был сыном того Д. П. Голохвастова, близкого родственника А. И. Герцена, который при Николае I был попечителем Московского учебного округа и о личности которого Герцен в «Былом и думах» сообщил много ядовитого<sup>164</sup>. Голохвастов жил в Покровском, одном из дворянских гнезд

<sup>162</sup> «Вы могли бы сделать это сами» (*фр.*).

<sup>163</sup> Александр III сказал А. Ф. Тютчевой 25 марта 1881 г. во время частной аудиенции: «Я читал все статьи вашего мужа за последнее время. Скажите ему, что я доволен ими. В моем горе мне было большое облегчение услышать честное слово. Он честный и правдивый человек, а главное, он настоящий русский, каких, к несчастью, мало, и даже эти немногие были за последнее время устранены; но этого больше не будет... Я сочувствую идеям, которые высказывает ваш муж. По правде сказать, его газета единственная, которую можно читать. Что за отвращение вся эта петербургская пресса – именно гнилая интеллигенция. Она воображает, что теперь хороший случай ставить мне условия» (*Тютчева А. Ф. При Дворе двух императоров: дневник 1855–1882. М., 1929. С. 225*).

<sup>164</sup> «Когда Дмитрий Павлович, – писал А. И. Герцен в «Былом и думах», – был назначен в университет, я думал точно так,

Московской губернии, где не раз гостил Герцен. После смерти П. Д. Голохвастова это имение было куплено С. Т. Морозовым. Он отремонтировал его на современный лад, с проведением воды, электричества и телефона. К слову сказать, тот же С. Морозов купил и полностью уничтожил знаменитый дом И. С. Аксакова на Спиридоновке с громадным садом, в котором в самом центре Москвы можно было слушать весной соловьев. На месте этого дома был построен особняк-замок Морозова; старый сад был вырублен, вычищен и превращен в английский парк. Так символически прежнее родовое дворянство уступало место разбогатевшей буржуазии. В деревне Савва Морозов был менее радикален; он сохранил старый каменный дом и только пристроил к нему новое здание, более современного стиля. Во всем хозяйстве появился порядок. С крестьянами было произведено размежевание, восстановлены настоящие границы владения; все окопано канавами и обнесено межевыми столбами; закрыты самовольные дорожки через барскую землю; проселки везде заменились шоссе-ной дорогой, на канавах и речках поставлены мосты из железа, болота осушены, сторожки лесных сторожей превращены в каменные дома с железными крышами; словом, везде проступало цивилизующее могущество капитала. Прежний запущенный сад был приведен в образцовый вид, и только в качестве реликвии сохранена часть старого каменного забора в одном углу этого сада. С этого забора, по просьбе Ф. Родичева, я снял фотографию для Общества имени Герцена<sup>165</sup>; забор видал еще Герцена. Голохвастовы свято чтит память своего отца; у него была известная слабость к рысистым лошадям; его гордостью был знаменитый Бычок, о котором вспоминает и Герцен<sup>166</sup>. Подлинное стойло Бычка с такой памятной надписью, которую можно сейчас увидеть на домах, где жили или умерли великие люди, сохранялось Голохвастовыми до самой их

---

как князь Сергей Михайлович [Голицын] (попечитель Московского университета и Московского учебного округа в 1830–1835 гг. – С. К.), что это будет очень полезно для университета; вышло совсем напротив. Если бы Голохвастов тогда попал в губернаторы или в обер-прокуроры, весьма можно предположить, что он был бы лучше многих губернаторов и многих обер-прокуроров. Место в университете было совсем не по нем; свой холодный формализм, свое педанство он употребил на мелочное, пансионское управление студентами; такого вмешательства начальства в жизнь аудитории, такого педальства на большом размере не было при самом [А. А.] Писареве (попечитель Московского университета и Московского учебного округа в 1820–1830 гг. – С. К.). И тем хуже, что Голохвастов сделался в нравственном отношении то, что были [А. Н.] Панин (граф, помощник попечителя Московского университета и Московского учебного округа в 1831–1833 гг. – С. К.) и Писарев для волос и пуговиц. Прежде в нем было, при всем можайско-верейском торизме его, что-то образованно-либеральное, любовь к законности, негодование против произвола, против чиновничьего грабежа. С вступления в университет он становился *ex officio* [по должности (*лат.*)] со стороны всех стеснительных мер, он считал это необходимостью своего сана. Время моего курса было временем наибольшей политической экзальтации; мог ли же я остаться в хороших отношениях с таким усердным слугою Николая [I]? Формализм его и это вечное священнодействие, *mise en scene* себя [стремление показать себя в каком-то особом свете (*фр.*)] иногда вводили его в самые забавные истории, из которых, вечно занятый сохранением достоинства и постоянно довольный собой, он не умел никогда ловко вывернуться. Как председатель Московского ценсурного комитета он, разумеется, тяжелой гирей висел на нем и сделал то, что впоследствии книги и статьи посылали ценсировать в Петербург» (Герцен А. И. Былое и думы // Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 9. С. 193).

<sup>165</sup> Имеется в виду Общественно-литературный кружок имени А. И. Герцена, который существовал в Петербурге (Петрограде) с 1907 по 1917 г. и, по мысли его основателей, представлял собой «кружок прогрессивный по направлению, но вполне беспартийный», причем деятельностью кружка руководили его Совет и Бюро. В задачи кружка входило научное изучение жизни и творчества Герцена, издание специальных герценовских сборников, собиране библиотеки Герцена из его книг и литературы о нем и создание в Петербурге музея Герцена. Подробнее см.: Ермичев А. А. Немного об истории кружка имени А. И. Герцена // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2012. Т. 13. Вып. 3. С. 132–135.

<sup>166</sup> Характеризуя Д. П. Голохвастова, А. И. Герцен писал: «Во внутренней жизни его в продолжение его кураторства все шло благополучно, т. е. в свое время являлись на свет дети, в свое время у них резались зубы. Именье было ограждено законными наследниками. Сверх того, еще одно лицо обрадовало и согрело последние десять лет его жизни. Я говорю о приобретении *Бычка*, первого рыска по бегу, красоте, мышцам и копытам не только Москвы, но и всей России. Бычок представлял поэтическую сторону серьезного существования Дмитрия Павловича. У него в кабинете висели несколько портретов Бычка, писанных масляными красками и акварелью. Как представляют Наполеона – то худым консулом, с длинными и мокрыми волосами, то жирным императором с клочком волос на лбу, сидящим верхом на стуле с коротенькими ножками, то императором, отрешенным от дел, стоящим, заложив руки за спину, на скале среди плещущего океана, – так и Бычок был представлен в разных моментах своей блестящей жизни: в стойле, где он провел свою юность, в поле – свободный с небольшой уздечкой, наконец, заложенный едва видимой, невесомой упряжью в крошечную коробочку на полозьях, и возле него кучер в бархатной шапке, в синем кафтане, с бородой, так правильно расчесанной, как у ассирийских царей-быков, – тот самый кучер, который выиграл на нем не знаю сколько кубков Сазиковой работы, стоявших под стеклом в зале» (Герцен А. И. Указ. соч. С. 199–200).

смерти. На месте этой конюшни Морозов построил другую, образцовую, с последним словом комфорта, о котором в свое время не снилось Бычку. П. Д. Голохвастов жил в своем родовом имении вместе со своим братом Д. Д. Голохвастовым, предводителем<sup>167</sup> и деятелем эпохи Александра II, общепризнанным лучшим оратором этого времени, сказавшим когда-то на Московском дворянском собрании на шумевшую речь вольного, хотя и чисто дворянского содержания, за что был по высочайшему повелению лишен предводительства и выслан в деревню<sup>168</sup>. Об удивительном красноречии этого человека я потом слышал от Л. Н. Толстого. В то время, которое я помню, он был уже руиной, разбитым параличом и совершенно глухим. Его возили на коляске и с ним разговаривали лишь по запискам. Он прошел мимо моего наблюдения. Зато его брата П. Д. я помню отлично, и он был сам интересной фигурой.

Широко образованный по понятиям того времени, говоривший свободно на четырех языках, исколесивший все европейские страны, по внешности и манерам он представлял истинный тип европейца. Он и в деревне ходил не иначе как в европейском костюме, с крахмальным воротничком, охотно разговаривал на иностранных наречиях, был знатоком французских вин и курил только дорогие сигары. Со всем тем он был одним из могикиан славянофильства. Он

<sup>167</sup> П. Д. Голохвастов был звенигородским уездным предводителем дворянства.

<sup>168</sup> Историю с Д. Д. Голохвастовым В. А. Маклаков излагает неверно. Действительно, выступая в январе 1865 г. на Московском губернском дворянском собрании, он именовал окружение Александра II «опричниной» (*Христофоров И. А. «Аристократическая» оппозиция Великим реформам. Конец 1850 – середина 1870-х гг. М., 2002. С. 176*). Более того, Д. Д. Голохвастов явился одним из инициаторов Адреса московского дворянства на высочайшее имя, принятого в заседании Дворянского собрания 11 января 1865 г. большинством 270 против 36 голосов. В адресе заключалась просьба «довершить государственное здание созванием общего собрания выборных людей от Земли Русской, для обсуждения нужд, общих всему государству», а также «второго собрания из представителей одного дворянского сословия». В ответ Александр II издал Рескрипт на имя министра внутренних дел П. А. Валуева, в котором говорилось: «Мне известно, что во время своих совещаний Московское губернское дворянское собрание вошло в обсуждение предметов, прямому ведению его не подлежащих, и коснулось вопросов, относящихся до изменения существенных начал государственных в России учреждений. Благополучно совершившиеся в десятилетнее мое царствование и ныне по моим указам еще совершающиеся преобразования достаточно свидетельствуют о моей постоянной заботливости улучшать и совершенствовать, по мере возможности и в предопределенном мной порядке, разные отрасли государственного устройства. Право вчинения по главным частям этого постепенного совершенствования принадлежит исключительно мне и неразрывно сопряжено с самодержавной властью, Богом мне вверенной. Прошедшее в глазах всех моих верноподданных должно быть залогом будущего. Никому из них не предоставлено предупреждать мои непрерывные о благе России попечения и предрешать вопросы о существенных основаниях ее общих государственных учреждений. Ни одно сословие не имеет права говорить именем других сословий. Никто не призван принимать на себя передо мной ходатайство об общих пользах и нуждах государства. Подобные уклонения от установленного действующими законами порядка могут только затруднять меня в исполнении моих предначертаний, ни в каком случае не способствуя достижению той цели, к которой они могут быть направлены. Я твердо уверен, что не буду встречать впредь таких затруднений со стороны русского дворянства, вековые заслуги которого пред престолом и отечеством мне всегда памяты и к которому мое доверие всегда было и ныне пребывает непоколебимым. Поручаю вам поставить о сем в известность всех генерал-губернаторов и губернаторов тех губерний, где учреждены дворянские собрания или имеют быть учреждены собрания земские». Однако в сентябре 1865 г. Д. Д. Голохвастов, остававшийся звенигородским уездным предводителем дворянства, был в числе немногих лиц, принятых Александром II в его подмосковном имении Ильинском, причем именно как «один из запальчивейших ораторов Московского дворянского собрания, говоривших в пользу адреса». «Я вызвал тебя, как здешиного предводителя, – сказал император Д. Д. Голохвастову, – хотя я должен был бы на тебя сердиться, но я не сержусь и хочу, чтобы ты сам был судьей в своем деле. Подумай и скажи, каково мне было знать, что ты публично, при всей зале, позоришь именем “опричников” тех людей, которых я удостоил доверия...». Д. Д. Голохвастов просил позволения объяснить употребленное им выражение. «Говори правду, я всегда охотно ее слышу», – ответил Александр II. Д. Д. Голохвастов уверял, что под словом «опричники» он подразумевал не опричников Ивана IV Грозного, а все, что по своим стремлениям стоит «опричь земщины», т. е. вне или в стороне от народа. «Важно не слово, а дело, – заметил император. – Что значила вся эта выходка... Чего вы хотели? Конституционного образа правления?» Выслушав утвердительный ответ Д. Д. Голохвастова, Александр II продолжал: «И теперь вы, конечно, уверены, что я из мелочного тщеславия не хочу поступиться своими правами! Я даю тебе слово, что сейчас, на этом столе, я готов подписать какую угодно конституцию, если бы я был убежден, что это полезно для России. Но я знаю, что сделаю я это сегодня, и завтра Россия распадется на куски. А ведь этого и вы не хотите. Еще в прошлом году вы сами и прежде всех мне это сказали». Эти слова относились к Адресу московского дворянства по поводу Польского восстания 1863–1864 гг. Напоследок император заметил: «Главное – не гоняйся за аплодисментами, за успехами красноречия, ведь, право, не стоит того!..» – «Аплодисменты, государь, относились не ко мне, – возразил Д. Д. Голохвастов, – их мог вызвать каждый в зале, стоило вас назвать – и стены дрожали от аплодисментов». – «Да, я знаю, – заметил Александр II с улыбкой, – ну, с Богом, прощай!» (*Татищев С. С. Император Александр II, его жизнь и царствование: В 2 кн. М., 1996. Кн. 1. С. 580–581, 590–591*). Таким образом, выступление Д. Д. Голохвастова на Московском губернском дворянском собрании никаких неблагоприятных последствий не имело.

изъездил Европу только затем, чтобы прийти к заключению, что Россия выше всего. Это предположение сказывалось во всех мелочах. У него была удивительная память на тексты, и на стихи, и на прозу. Он любил говорить о превосходстве русской литературы, цитировать на память баллады Шиллера, а потом их же в переводе Жуковского и тонко доказывал, насколько перевод выше подлинника. Он всегда с радостью отмечал всякое русское преимущество. Он рассказывал, как ездил к Герцену объясняться за несправедливость, которую тот допустил в оценке его отца, Д. П. Голохвастова. Он уверял, будто Герцен это признал и перед ним извинился. Но, рассказывая об их разговоре, он с особенным удовольствием передавал, как, увлеченный воспоминаниями о России, Герцен сказал: «Вот вам крест, – и уже начал крестное знамение, но, поймав себя на таком несовременном жесте и выражении, улыбнулся и, протянув ему руку, окончил: – вот вам моя рука: если бы я мог знать наверное, что, вернувшись в Россию, буду сослан в Сибирь, но смогу пережить время ссылки и вернуться в Россию живым, даю вам слово, что тотчас бы вернулся». Голохвастов много занимался русской историей; писал ряд монографий<sup>169</sup>. У него была полемика с В. О. Ключевским о древнерусском «кормлении». Голохвастов доказывал, что термин «кормление» происходит не от слова «кормиться»; мысль, будто верховная власть посылала чиновников «кормиться» от населения, ему казалась кощунством над русской стариной. Термин «кормление» он выводил от корня «корма», «кормчий», что значило – управление. Власть посылала не «кормиться», а «управлять»<sup>170</sup>. В полемике с Голохвастовым Ключевский был очень резок по его адресу. Судьба их свела потом в нашем доме; не знаю, была ли встреча приятна обоим, но они скоро разговорились, увлеклись и заспорили. Целый вечер препирались о значении слова «бобыль». Но Голохвастов не только занимался историей. Однажды он чуть не сделал большого политического дела в России. Я мальчиком присутствовал при его рассказе о несостоявшемся Земском соборе 1882 года, который был затеян министром внутренних дел гр[афом] Игнатьевым, за что он и должен был выйти в отставку. По словам Голохвастова, идея Земского собора принадлежала ему<sup>171</sup>. Я был тогда слишком мал, чтобы понять интерес этого рассказа. Но не раз его вспоминал, когда в оглашенных в последнее время документах стал встречать упоминания о роли П. Голохвастова в этой попытке<sup>172</sup>.

<sup>169</sup> Известна следующая опубликованная историческая работа П. Д. Голохвастова: Земское дело в Смутное время // Русь. 1883. 3 янв. – 8 апр. См. также его книгу: Законы стиха русского народного и нашего литературного: опыт изучения. СПб.: О-во любителей древней письменности, 1883.

<sup>170</sup> См. очерк П. Д. Голохвастова «Боярское кормление» (Русский архив. 1890. Вып. 6. С. 209–248). В этой статье П. Д. Голохвастов полемизировал не только с В. О. Ключевским, но и с Д. И. Иловайским.

<sup>171</sup> Признание П. Д. Голохвастова соответствовало действительности. И. С. Аксаков писал графу Н. П. Игнатьеву 10 января 1882 г.: «Моя искренняя вера в Вас, как единственного человека, который <...> является представителем национального исторического направления, побуждает меня просить Вас <...> нет, не просить, а настаивать, чтобы Вы прочли со вниманием мое письмо и улучили бы час-два времени для конфиденциальной беседы с подателем сего Павлом Дмитриевичем Голохвастовым». Далее И. С. Аксаков останавливался на характеристике настроения умов, указывая на существующую опасность, которую неспособны предотвратить намеченные правительством меры. По его словам, основная опасность заключалась в том, что все политические течения, начиная от аристократов и кончая нигилистами, стремятся к конституции, но «дать конституцию царь не может: это было бы изменой народу, предательством» и привело бы Россию к гибели. Однако «есть выход из положения, способный посрамить все конституции в мире, нечто шире и либеральнее их и в то же время удерживающее Россию на ее исторической, политической и национальной основе. Этот выход – Земский собор с прямыми выборами от сословий: крестьян, землевладельцев, купцов, духовенства. Теперь представляется к этому повод – коронация. Присутствие тысячи выборов от крестьян заставит, без всякого иного понуждения, смолкнуть всякие конституционные вожелания и послужит лишь к всенародному перед всем светом утверждению самодержавной власти в настоящем народном историческом смысле. Как воск от огня, – восклицал И. С. Аксаков, – растают от лица народного все иностранные, либеральные, аристократические, нигилистические и тому подобные замысления». Далее И. С. Аксаков указывал, что как только будет объявлено царем о предстоящем созыве Земского собора, то всякая опасность для императора исчезнет – он спокойно сможет ехать в Москву, никого не боясь, так как нигилизм будет «мигом парализован». Охарактеризовав значение Земского собора, И. С. Аксаков переходил к практическим вопросам его организации: «Но что такое Земский собор? Как его устроить? Вот для этого и посылаю к Вам П. Д. Голохвастова, уже 15 лет лелеющего в себе эту мысль и разработавшего ее во всех подробностях, которые им изложены даже письменно» (цит. по: *Зайончковский П. А.* Кризис самодержавия на рубеже 1870–1880-х гг. М., 1964. С. 452–453).

<sup>172</sup> Вероятно, В. А. Маклаков имеет в виду обширную переписку П. Д. Голохвастова с И. С. Аксаковым относительно созыва Земского собора (Русский архив. 1913. Кн. 1–2), а также воспоминания Е. М. Феоктистова (см.: *Феоктистов Е. М.*

Восстанавливая в памяти фигуру этого Голохвастова, я не могу его зачислить в разряд ретроградов. Этот взгляд был бы слишком упрощен. В 1882 году Голохвастов чуть не устроил Земского собора в России; он постоянно негодовал на стеснения совести, слова и печати; был по религиозным мотивам непримиримым противником смертной казни. При добрых личных отношениях с правящими сферами, в частности с Победоносцевым, он возмущался их политической линией, считая, что она губит монархию. Он вообще стоял за личность и за свободу. Как славянофил он не был противником общины, но возмущался той властью, которую государство в своих интересах дало сельскому обществу над отдельными членами, негодовал на «проклятую» круговую поруку. Он беспощадно клеймил крестьянских «ростовщиков» и «кабатчиков», настаивал на лишении их всяких избирательных прав, как представителей, может быть, необходимого, но «нечестного» занятия, которое можно терпеть, но не оправдывать; но горячо защищал зажиточных крестьян, по большевистской терминологии – *кулаков*, достигших достатка честным трудом; я помню, как он возмущался уничтожением мирового суда<sup>173</sup> и как горько пенял на Александра III, которого считал не волевым, не сильным, а только упрямым. Припоминаю его отзыв о реформе 1889 года, о земских начальниках. Его утешала только вера в благородство русской души, которую не надо смешивать с модной *âme slave*<sup>174</sup>. В Европе, говорил он, земские начальники просто восстановили бы крепостное право; у нас они будут стараться принести посильную пользу крестьянам, но принесут только вред. Многие взгляды Голохвастова сближали его с либерализмом; но, горячо порицая политику Александра III, Голохвастов оставался убежденным сторонником самодержавия. Он считал конституционный порядок гибелью для России и началом развращения общества. Он осуждал русских либералов, самых честных его представителей, вроде Арсеньева, Стасюлевича. «Вестник Европы», с его европейскими взглядами, был, по его выражению, только помоями, которые с корабля выливают на море. Это – грязь, но грязь лишь наносная, под нею чистое народное море, которое этой грязью не замутить.

Когда я был студентом, мне часто приходилось разговаривать с Голохвастовым; и уже тогда я становился в тупик перед вопросом, куда его отнести: к «реакции» или к «прогрессу»? Правда, он был поклонником самодержавия, и это казалось большим недостатком; но самодержавию он поклонялся лишь потому, что одно самодержавие, по его мнению, было способно служить народу «действенно» и «бескорыстно». Такой мотив с Голохвастовым примирял. К тому же Голохвастов не принимал самодержавия *без самоуправления*. Он любил напоминать, что и *местное самоуправление*, и *общерусский* Земский собор впервые расцвели именно при таком идеалисте самодержавья, каким был Иван Грозный. Голохвастов мистически верил, что глас народа – глас Божий, и потому *верил* в Земский собор. Земский собор, по его мнению, ошибаться не мог. Он как-то прочел свое сочинение (не знаю, было ли оно напечатано) о Соборе 1598 года, который избрал Годунова на царство<sup>175</sup>. Голохвастов держался на Годунова отброшенных теперь наукой взглядов. Он считал избрание недостойного Годунова ошибкой, но не мог допустить, чтобы Земский собор смог ошибиться. И потому он пришел к парадоксальному выводу, будто Земский собор был подтасован, что его не было вовсе, а что только потом по позднейшим образцам от имени Собора написали подложную грамоту. Все это Голохвастов доказывал кропотливым изучением текста грамоты и состава Собора. Но призна-

Воспоминания. За кулисами политики и литературы. 1848–1896. Л., 1929. С. 204–211). В. А. Маклаков мог ознакомиться и с датированным 6 мая 1882 г. проектом Манифеста о созыве Земского собора (К. П. Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки. М., 1925. Т. 1. Пт. 1. С. 261–262) и с реакцией на этот проект К. П. Победоносцева (Письма К. П. Победоносцева к Александру III. М., 1925. Т. 1. С. 379–381, 383, 385). См. также: П. Д. Голохвастов о русском государственном строении и Земском соборе // Русский вестник. 1905. Кн. 2. С. 745–762; *Игнатъев Н. П.* Земский собор. СПб.: Кишинев, 2000.

<sup>173</sup> Упразднение мирового суда последовало в результате введения в действие Положения о земских участковых начальниках 1889 г., на которых, помимо административных, были возложены и судебные функции мировых судей.

<sup>174</sup> славянской душой (*фр.*).

<sup>175</sup> Насколько известно, это сочинение П. Д. Голохвастова напечатано не было.

вая, что «глас народа – глас Божий», Голохвастов не считал гласом народа простое мнение его *большинства*. В этой замене одного понятия совершенно другим, в раболепном преклонении перед принципом *большинства*, т. е. перед *цифрой*, он видел всю зловредную «ложь конституции». Из погони за числом голосов развивается политический разврат нашего времени, необходимость партий, партийной дисциплины, обязательной партийной лжи и т. п. Царь не может идти против народа, думал Голохвастов. Перед его единодушием он всегда преклонится. Отличием Земского собора от парламента должно было быть требование единогласия; только *оно* для царя обязательно. Но если единогласия нет, нет и голоса народа; есть только отдельные мнения. Из них – и это отличие от *liberum veto*<sup>176</sup> – царь по разуму и совести свободен выбирать то, которое считает полезнее. В этом и состоит истинное дело царя, быть арбитром; *такой* способ решения разномыслия разумнее, чем механический подсчет голосов.

Вот чему верил Голохвастов; пусть это идиллия, над которой «умные» люди позднее смеялись. Это не мешает тому, что в критической части славянофильства были верные мысли. Их идеал был сам по себе беспощадным обличением нашего полицейского самодержавия, при котором в стране не могло образоваться ни общего народного голоса, ни даже отдельных мнений. Учение славянофилов в сравнении с тем, что было в России, вело Россию вперед, не назад. А что касается до их критики конституционного строя, то восстание против принципа большинства, как *ultima ratio*<sup>177</sup> для разрешения спора, против замены «разума» голосующих «партийной дисциплиной» указывало на действительно слабые стороны народоправства. Эти стороны, может быть, его *неизбежное* зло, но все-таки *зло*, которого нет смысла скрывать.

Но со славянофильством можно было не церемониться; с момента своего возникновения оно встречало насмешки. Наконец, оно не было народным движением, не выходило за пределы верхушки интеллигенции. Среди общественных настроений оно могло считаться *quantité négligeable*<sup>178</sup>. Но возьмем другое течение, более популярное в толще демократической интеллигенции, вышучивать которое решился только агрессивный юный марксизм, это – народничество. А это течение при всей ненависти к режиму, который установился в России, тоже не видело единственного спасения в *конституции*. По этому поводу я хочу вспомнить об одном москвиче – Л. В. Любенкове, о котором молодое поколение не знает и никогда не узнает. Любенков в «историю» не перешел; он болезненно боялся всякой рекламы; нельзя было бы представить себе его сообщающим журналистам о том, как он «живет и работает»; он убежал бы от попытки устроить ему какое-либо публичное юбилейное чествование. Лишь когда он был разбит параличом и в [Московской] городской думе был поставлен вопрос о назначении ему пенсии, его имя и перечень его заслуг перед городом попали в печать. Можно было тогда увидеть редкое зрелище, как на исключительном уважении к Любенкову сошлись все решительно гласные. Он скоро скончался, и никто пышных некрологов ему не посвятил. Но москвичи, особенно судьи, его не забудут. Если можно делить всех людей на честолюбцев (спортсменов) и праведников, Любенков был праведником общественной деятельности. Сам он оставался в тени, выдвигал вперед молодых, уклонялся от ответственных должностей, но по моральному авторитету был вождем и учителем. При нем становилось стыдно «мелких помыслов и мелких страстей»<sup>179</sup>. Наблюдая его, я понимал влияние тех людей, кого народная память называла «святыми».

Любенков был состоятельным тульским помещиком Богородицкого уезда, гласным губернского земства и бессменным мировым судьей Пречистенского участка в Москве.

<sup>176</sup> Свободное вето (*лат.*) – конституционная традиция в Речи Посполитой (Польско-Литовском государстве) XVI – XVIII вв., заключавшаяся в том, что при принятии решения общегосударственным сеймом и провинциальными сеймиками один сеймовый посол, голосуя против, полностью отменял голосование за.

<sup>177</sup> последний довод (*лат.*).

<sup>178</sup> незначительной величиной (*фр.*).

<sup>179</sup> Цитируется строка из стихотворения Н. А. Некрасова «Рыцарь на час» (1862).

На службе земству и мировому суду прошла вся его долгая жизнь. В Гранатном переулке у него был маленький домик с большим садом, смежным с садом Саввы Морозова по Спиридоновке. Сад давал ему иллюзию жизни в деревне. Это было только последовательно, так как в нем самом не было ничего городского. Когда часов в 5 он пешком возвращался из камеры<sup>180</sup>, он снимал европейский костюм, облакаясь в поддевку, из которой уже не вылезал. Он никогда не выезжал, но его дом был всегда полон народу. К обеду приходили незванные; все проходили через кухню, с черного хода<sup>181</sup>. Если раздавался звонок с парадного подъезда, в доме поднимался переполох; это значило – *чужие*, непривычные гости. Тогда бежали зажигать лампы в передней. Старики уходили встречать гостей, наглухо запирали двери туда, где оставалась одна молодежь, и возвращались потом с облегченным вздохом: беда миновала.

Этот непритязательный, скромный старик был иллюстрацией поговорки, что человек красит место. Там, где он был и работал, он становился немедленно авторитетом и центром. В земстве он был председателем редакционной комиссии, и эта комиссия стала инстанцией, которая направляла всю земскую жизнь. В Москве он по средам сидел в составе мирового судейского съезда, и в этот состав съезда тотчас ради него стали направляться все *сложнейшие* съездовые дела. В Любенкове ценили не только тонкий юридический ум, но и исключительную независимость совести; его нельзя было бы поймать ни на какую уловку. Он стал идеалом мирового судьи; своим обаянием создал школу и был непревзойденным авторитетом в спорных вопросах.

Отношение Любенкова к людям было интересно сравнить с голохвастовским. Тот, образованный европеец, тоже предпочитал всему русского человека, но даже мне, мальчику, было понятно, что это потому, что в русском человеке он видит *свой* идеал, *свое* сочинение. Любенков же любил свой народ, каким он действительно был; он его не идеализировал, но зато и неспособен был бы его разлюбить за его недостатки. У него, как у мирового судьи, было обширное поле для наблюдения, и он был мастером наблюдать и рассказывать. Эти рассказы всегда дышали непоколебимым доброжелательством к русскому человеку во всех его проявлениях. Он умел отыскивать залог хорошего в самом дурном, а законную досаду смягчать добродушной усмешкой. Он одинаково беззлобно подтрунивал и над бестолковостью некультурных людей, и над горделивой претензией самодовольного «барина». Он понимал, что нравы сильнее законов, что надо себя долго воспитывать, чтобы отделаться от *старых* привычек. Несмотря на встряску шестидесятых годов, в людях еще сохранялись прежние следы и «рабства», и «барства»; они то и дело вылезали наружу в причудливых формах. К этим чертам Любенков относился без озлобления, так как они были естественны, но и без снисхождения; *они* мешали России двигаться дальше. Постепенно победить эти пережитки в себе и других казалось ему главной задачей. Этому он достиг в *своем доме*; в нем установилась особая атмосфера, которую редко где можно было встретить.

Любенкова коробило все *показное*; коробил и *показной* демократизм. Он считал бы проявлением «барства» демонстративную подачу министром руки швейцару, в чем в первые дни [Февральской] революции видели символ прогресса. Но Любенков был тем *естественным* демократом, который не мог ни в чем ни проявить «сословного» предрассудка, ни задеть чужого достоинства. В его доме все были равны. Прислуга чувствовала себя домочадцами, по привычке говорила «ты» молодым господам, а подруг дочери безразлично величала «кра-

<sup>180</sup> Имеется в виду камера мирового судьи – его служебное местопребывание.

<sup>181</sup> В своих более поздних мемуарах В. А. Маклаков уточнял: «Старик Любенков возвращался из камеры мирового судьи около 5 часов, надевал домашний костюм, то есть поддевку, и садился за обеденный стол; к нему приходили кто хотел, без приглашений и предупреждений. Это было у него время приема гостей. Ходили все через кухню: парадный вход был для чужих. За этим столом я перевидал многих будущих деятелей и Освободительного движения, и Конституции, Н. И. Астрова, Н. Н. Щепкина, В. Н. Челищева, И. И. Шеймана и много других; они встречались здесь с нами, более молодым поколением. Это было уже появление “земских людей”, когда я сам был еще только студентом» (Маклаков В. А. Воспоминания. Лидер московских кадетов о русской политике. 1880–1917. М., 2006. С. 139).

савицами». Никого в доме не шокировало и не удивляло, когда прислуга принимала участие в разговоре господ.

Любопытно было отношение Любенкова к молодому поколению. У него было два сына и дочь<sup>182</sup>, и дом был всегда полон их друзьями и гостями. У стариков был культ молодежи; не тот лицемерный и лстивый культ, который можно наблюдать в Советской России, где молодежь сознательно развращают, чтобы иметь ее на своей стороне. Любенков был убежден, что молодое поколение и лучше, и умнее, чем он, что надо только ему не мешать, не стараться переделывать его на свой образец. Он по-стариковски сразу начинал говорить всем нам «ты», но никогда ничем не старался нам импонировать. Когда между нами происходили споры, он подходил незаметно из-за двери послушать, но в спор не вступал. Изредка, с извинениями, что он, старик, себе позволил вмешаться, говорил свое мнение и поскорее уходил, повторяя: «Где мне с вами спорить!» Сверстники Любенкова говорили, что он был превосходным оратором; нам этого таланта видеть не приходилось; с нами он только разговаривал, при этом как бы всегда извиняясь пред нами добродушной улыбкой. Только случайно он как будто забудется, голос его станет строгим, отрывистым, даже властным, и мы видели, как он мог и спорить, и бороться, когда спорить хотел.

Старик Любенков, его дети, их близкие друзья и товарищи были по направлению тем, что в широком смысле называлось «народничеством». Целью их жизни было *служить народу*. Один его сын был, как и отец, мировым судьей, другой – земским врачом; дочь была фельдшерницей и вышла замуж за земского доктора. Раньше у них был большой кружок сверстников, который поставил задачей: *всем* идти на земскую службу, заполнить целый уезд на разных постах – медиками, учителями, агрономами и т. д. Они так и сделали; захватили почти целиком в свои руки Богородицкий уезд Тульской губернии. Другие в других губерниях и уездах, но делали одно и то же дело: служили народу по земству. *Эта* служба казалась им самой полезной и самой главной; все остальное в свое время придет.

Любенковы сошли со сцены и кружок их распался еще до «освободительного движения». Трудно предвидеть, как бы этот кружок отнесся к увлечениям того времени. Но в то время, когда я его помню, лозунг «долгой самодержавие» его не захватил бы; он нашел бы этот лозунг слишком упрощенным, книжным, *не народным*, словом, «барским» и «интеллигентским». В этом отношении кружок Любенковых был не моего поколения<sup>183</sup>.

Сами старики помнили шестидесятые годы и сохранили культ к Александру II. В Туле ставили памятник этому государю, и Любенков был приглашен на торжество<sup>184</sup>. Уклониться

<sup>182</sup> Известно, что у Л. В. Любенкова было два сына – Лев и Владимир.

<sup>183</sup> Вспоминая позднее свой «переход от “студенчества” в “общество”», В. А. Маклаков писал: «Первым шагом на этой дороге сделалось мое сближение с кружком Любенкова. О самом старике, патриархе мировых судей Москвы, я говорил в книге “Власть и общественность”. Сейчас буду говорить не лично о нем. Меня привел к нему Н. В. Черняев, с которым я познакомился через толстовцев и который становился в это время самым близким другом моим. Кружка, который группировался когда-то около семьи Любенкова, его дочери и сыновей, я уже не застал; памятью о нем оставалась только фотография его членов. Они все по всей России разъехались на работу. Раз на охоте в Воронежской губернии у своего товарища Богушевского я увидел на стене эту группу, где я узнал Тумановского, бывшего в то время уже председателем Задонской уездной управы. Жизнь разбросала повсюду первоначальных членов кружка, но его традиции сохранились. Они все были “народолюбцы”, тем, что тогда называлось народничеством. Их задачей было народу служить так, как он сам от них этого ждал; они не претендовали создавать “авангард” и быть в нем “руководящим ядром”. Не считали, что крестьянин есть мелкий буржуй, что будущее России в индустриальных рабочих и пролетариате. По теперешним взглядам этот кружок был уже “отсталым явлением”. Когда позднее появились марксисты, вели споры с народниками, и Туган-Барановский доказывал в Юридическом обществе пользу для государства высоких цен, кружок был на стороне “старовера” А. И. Чупрова, который защищал служение непосредственным интересам народа, по его пониманию. Кружок был вдохновлен реформами [18]60-х годов. В их рамках он хотел быть России полезным. Он не думал, что введение конституции и четыреххвостки в России было бы сейчас не только волей, но и пользой народа. Сплоченного кружка уже не было, когда Освободительное движение началось; не могу судить, как бы они с его лозунгами к нему отнеслись. <...> Мое сближение с этим кружком было первым соприкосновением с так называемым обществом» (Там же. С. 138–139).

<sup>184</sup> Бюст Александра II, изваянный скульптором Н. А. Лаврецким, был установлен на мраморном постаменте в Уголовной зале здания Тульского окружного суда, где проходили судебные процессы с участием присяжных заседателей. Торжественное

он не хотел, но рассчитывал остаться в тени. Этого ему не удалось, губернатор Зиновьев его спровоцировал<sup>185</sup>. Официальную речь свою он неожиданно кончил словами: «А о том, что сделал Александр II, пусть вам расскажет тот, кто лучше всех это сможет: Лев Владимирович Любенков». Отказаться было нельзя, и Любенков заговорил. Эту речь он нам передавал; другие рассказали о произведенном ею впечатлении. Выходя на трибуну, Любенков не знал, что он скажет. Но памятник Александру II, воздвигнутый в эпоху реакции, его воодушевил. Как он говорил, что-то сдавило ему горло, и он начал сразу повышенным тоном, указывая на бюст Александра II: «Великая тень великого прошлого встала перед нами – смотрите!» Последовала вдохновенная импровизация, которая вышла цельной потому, что все ее мысли были давно глубоко продуманы. Этому прошло столько времени, что в памяти моей сохранился только общий план речи и отдельные фразы. Любенков превозносил Александра II за то, что он обновил русскую жизнь «идеями» *свободы и самоуправления*. Он противопоставлял «идеям» то, что из них «на практике» получилось. Александр II был изображен как настоящий идеалист, ученик идеалиста Жуковского. Любенков картинно изображал его реформаторскую деятельность. «Он дал народу свободу», – говорил Любенков. «Но как же управлять им, ваше величество?» – с удивлением спрашивали его приближенные. И Александр отвечал: «Пусть управляется сам», и создал сельское и волостное самоуправление, волостные суды. Потом по тому же образцу для *всех* создал бессословное земство, университетскую автономию, судебную независимость. Наконец, он понес свободу и за границу; освободил славян на Балканах. И на прежний вопрос, *как* им управлять, сказал те же слова: «Пусть управляются сами», и дал им конституцию<sup>186</sup>. Любенков кончал выводом: «Все, что было великого в шестидесятых годах, все великие *идеи* были провозглашены им, Александром II; а в том, что из этого вышло, виноваты только *мы сами*». Пусть этой юбилейною речью Александр II был поставлен на высоту, им не заслуженную. Но величие идей шестидесятых годов и *идейный упадок* позднейшей политики были им изображены так убедительно, что сам губернатор со слезами в голосе повторял заключительные слова: «Да, мы, мы виноваты».

Такого культа Александра II *молодое* поколение, собиравшееся у Любенковых, уже не знало. Но от мысли, что просвещенный абсолютизм не сказал своего последнего слова, оно не отказывалось. Конечно, самоуправление оставалось его главной верой. Сельский сход, крестьянская община, которая еще не потеряла своего обаяния, в представлении людей этого настроения были *неприкосновенны*; следующим этапом, который народу надлежало пройти, было всесословное земство. Сфера местных непосредственных интересов была народу доступна, и в ней он *мог* быть хозяином. Но зато сразу сделать народ вершителем судеб *всего* государства значило оказать народу плохую услугу, отдать его в руки демагогии; самодержавие еще должно было на общее благо спланировать самоуправляющийся народный мир в государство, не деля своей верховной власти с «барским» парламентом. Эти «демократические» настроения, которые не были *враждебны* самодержавию, в кружке Любенковых сохранялись долго. Помню споры после злополучной речи Николая II о «бессмысленных мечтаниях»<sup>187</sup>. Ею

---

открытие этого памятника, приуроченное к 20-летию открытия Тульского окружного суда, произошло 29 октября 1886 г.

<sup>185</sup> В действительности тульским губернатором в это время являлся С. П. Ушаков. Н. А. Зиновьев был его преемником с 1887-го по 1893 г.

<sup>186</sup> Подразумевается согласие Александра II на введение в 1879 г. Тырновской конституции в Болгарии, освобожденной от турецкого ига в результате Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

<sup>187</sup> Имеется в виду речь Николая II, сказанная им 17 января 1895 г. в Николаевском зале Зимнего дворца при приеме депутатов от дворянства, земства и городов. «Я, – сказал тогда император, – рад видеть представителей всех сословий, съехавшихся для заявления верноподданнических чувств. Верю искренности этих чувств, искони присущих каждому русскому. Но мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный, покойный родитель» (*Николай II. Полное собрание речей. 1894–1906. СПб., 1906. С. 7*).

все возмущались; возмущались и тем, что молодой император сказал это старым людям, которые приехали для поздравления. Но сын Любенкова, убежденный народник, земский врач Владимир Львович выступил с другой точкой зрения. Он прочел доклад, около которого и завязались страстные прения. «Если дело в невежливой фразе, – говорил Владимир Львович, – этой “шаркунской” оценки оспаривать я не буду. Я просто с ней не считаюсь. Когда речь идет о таком гигантском принципе, как самодержавие, рассматривать его с точки зрения “светских манер” смешно». Но спор, по существу, за самодержавие Любенков готов был принять. И такой спор мог происходить в 1895 году, и защиту самодержавия мог брать на себя человек такой исключительной искренности, каким был молодой Любенков! Еще удивительней, что в данном вопросе старик Любенков поддерживал позицию сына. Через 40 лет я не помню всех доводов этого мнения, но основной тенденции их не забыл. Тогдашнего полицейского самодержавия, конечно, никто не защищал, но чтобы задачей было не исправление самодержавия, а введение «конституции», с этим Любенковы не соглашались. Конституционная практика Запада в восторг их не приводила; они указывали в ней те же недостатки, что и славянофилы. В неподготовленной, некультурной России государственное самоуправление, по их мнению, было бы самообманом. Они предсказывали при конституции образование класса профессиональных политиков, у которого заботы о благе народа переродятся в тактику «уловления» голосов; всеобщее избирательное право превратится в подделку под народную волю; разум и «совесть» народных представителей сменятся подчинением новым деспотам-партиям, их случайному большинству и безответственным руководителям и т. д.

Вот какие мысли еще имели право гражданства в 1890-х годах. Не говорю о тех течениях мысли, которые, предворяя современную моду, уже тогда смеялись над «парламентским кретинизмом» и «либерализмом» и предпочитали им якобинскую диктатуру, что сближало их против их воли и с фашизмом, и с самодержавием. Могу сделать один общий вывод: в 1890-х годах «конституция» панацеей еще не считалась; самодержавие не было для всех *общи́м и главны́м врагом*, как это сделалось позже.

Если позже оставались еще сторонники самодержавия, то его «идеалисты» уже исчезали. За самодержавие стояли тогда или пассивные поклонники всякого факта, или представители привилегированных классов, которые понимали, что самодержавие их охраняет. Эта перемена настроения произошла на нашей памяти и на наших глазах.

### Глава III. Студенчество моего времени

Настоящая глава писана не для этой книги и потому требует извинения. В 1930 году я написал свои «студенческие воспоминания» для сборника в память 175-летия Московского университета<sup>188</sup>. Они оказались слишком длинны для сборника; из них были помещены только отрывки о Герье, Ключевском и Виноградове. Но я пользуюсь уже написанным для настоящей книги. Читатели извинят, что у меня не хватило охоты воспоминания радикально переделывать и что они носят слишком личный характер. Но эпоха моего студенчества настолько характерна, что интерес они могут представить.

Студенты моего поколения даже внешним образом принадлежали к *переходной* эпохе. Мы поступили в университет после Устава 1884 года и носили форму; старший курс ходил еще в штатском<sup>189</sup>. Так смешались и различались по платью питомцы эпохи «реформ» и питомцы «реакции».

Устав 1884 года был первым *органическим* актом *нового* царствования. Его Катков приветствовал известной статьей: «Встаньте, господа! Правительство идет, правительство возвращается»<sup>190</sup>. Он предсказывал, что университетская реформа только начало и указывает направление «нового курса». Они не ошибся. Реформа университета имела целью воспитывать новых людей. Она сразу привела к «достижениям»; их усмотрели в посещении Московского университета Александром III в мае 1886 года<sup>191</sup>.

Конечно, для успеха этого посещения были приняты и полицейские меры, но ими одними объяснить всего невозможно. Даже предвзятые люди не могли не признать, что молодежь вела себя не так, как полагалось ей по ее репутации. При приезде государя она обнаружила настроенное, которое до тех пор бывало только в привилегированных заведениях. Такой восторженный прием государя не был возможен ни раньше, ни позже. Он произвел впечатление. Московские обыватели обрадовались, что «бунтовщики» так встретили своего государя. Катков ликовал. Помню его передовицу: «Все в России томилось в ожидании правительства. Оно возвратилось... И вот на своем месте оказалась и наша молодежь...». Он описывал посещение государя: «Радостные крики студентов знаменательно сливались с кликами собравшегося около университета народа». И он заключал, что Россия вышла, наконец, из эпохи волнений и смут<sup>192</sup>.

---

<sup>188</sup> См.: Маклаков В. А. Отрывки из воспоминаний // Московский университет. 1755–1930: юбилейный сборник. Париж: Изд-во «Современные записки», 1930. С. 294–318.

<sup>189</sup> Университетский устав 1884 г. ликвидировал автономию российских университетов. Подробнее об этом см.: Щетинина Г. И. Указ. соч. Устав 1884 г. не признавал обязательным ношение студентами формы, которое сделалось таковым в университетах Петербургском, Московском, Казанском, Киевском, Новороссийском (Одесском) и Харьковском согласно Положению Комитета министров, высочайше утвержденному 23 марта 1885 г.

<sup>190</sup> «Новый университетский устав, – писал М. Н. Катков в «Московских ведомостях» 6 октября 1884 г., – важен не для одного учебного дела, он важен еще потому, что полагает собою начало новому движению в нашем законодательстве; как Устав 1863 года был началом системы упразднения государственной власти, так Устав 1884 года представляет собою возобновление правительства, возвращение властей к их обязанностям. <...> Итак, господа, – заключал М. Н. Катков, – встаньте: правительство идет, правительство возвращается!.. Не верите?» (Катков М. Н. Сборник передовых статей «Московских ведомостей». 1884 год. М., 1898. С. 511–512).

<sup>191</sup> Александр III посетил Московский университет 15 мая 1886 г.

<sup>192</sup> Ср.: «Все в России томилось ожиданием правительства. Оно возвратилось, – писал М. Н. Катков в «Московских ведомостях» 16 мая 1896 г. – И вот на месте оказалось и учащееся юношество наше, в котором все надежды нашего будущего, – оказалось на своей родной почве, при своем народе, верное его преданиям. <...> С глубоким и радостным умилением присутствовали мы вчера при свободном, искреннем, горячем одушевлении молодых людей университета, встречавших и проводивших самодержца России. Их восторженные клики знаменательно сливались с громом кликов народа, окружавшего здание университета. Они были тем, чем быть должны, детьми своего народа. <...> Да, этот прекрасный студенческий праздник 15 мая в Московском университете – событие поистине знаменательное и, мы уверены, обильное благими последствиями не для одного Московского университета, но и далеко за его стенами...» (Катков М. Н. Сборник передовых статей «Московских ведомостей». 1886 год. М., 1898. С. 252–253).

Легкомысленно делать выводы из криков толпы; мы их наслушались и в 1917 году, и теперь, в Советской России. Еще легкомысленней было бы думать, что одного Устава могло быть достаточно, чтобы студенчество переродилось в два года. Но не умнее воображать, что прием был «подстроен» и что в нем приняли участие только «подобранные» элементы студенчества. Он был нов и знаменателен, и это надо признать.

Воспитание нового человека началось, собственно, много раньше, еще с «толстовской» гимназии<sup>193</sup>. Дело не в классицизме, который мог сам по себе быть благотворен, а в старании гимназий создавать соответствующих «видам правительства» благонадежных людей. Как жестока была эта система, можно судить по тому, что ее результаты оказывались тем печальнее, чем гимназия была лучше поставлена; ее главными жертвами были всегда преуспевшие, *первые ученики*. Они потом меньше лентяев оказывались приспособлены к жизни. Но не гимназия и не Устав 1884 года переродили студенческую массу к 1886 году; это сделало настроение самого общества, которое к этому времени определилось и которое студенчество на себе отражало.

Устав 1884 года не мог продолжать дело толстовской гимназии. Только старшие студенты ощущали потерю некоторых прежних студенческих вольностей и этим могли быть недовольны. Для вновь поступающих университет и при новом уставе в сравнении с гимназией был местом такой полной свободы, что мы чувствовали себя на свежем воздухе. Нас не обижало, как старших, ни ношение формы, ни присутствие педелей и инспекции<sup>194</sup>. Устав 1884 года больше

<sup>193</sup> Подразумеваются классические гимназии, появившиеся в 1871 г. по инициативе тогдашнего министра народного просвещения графа Д. А. Толстого и ставшие единственным типом гимназий. В. А. Маклаков писал, что «сама классическая гимназия, ее худшего времени, эпохи реакции 1880-х годов, оставила во мне такую недобрую память, что я боюсь быть к ней даже несправедливым. И эта недобрая память только росла, потому, вероятно, что в том уродовании “духа”, которое сейчас происходит в Советской России, как и во многих других новшествах “народной демократии”, ясно выступают черты того худшего, что было в старой России. Они сейчас опять воскресают, только с невиданным прежде цинизмом. Я не хочу делать упрека нашим учителям и даже начальству. Среди них были разные типы, были и хорошие люди. Я говорю о “системе”, которую в России ввели и которой их всех заставляли служить. Эта система имела главной задачей изучение древних, то есть мертвых, языков. Знание языков всегда очень полезно, а в молодые годы и дается очень легко. Для этого вовсе не нужно много грамматики. Можно говорить и понимать на чужом языке, грамматики совершенно не зная. Такого знания древних языков классическая гимназия, несмотря на то что в жертву этому приносила другие предметы, нам не давала. Ни по-латыни, ни по-гречески разговаривать мы не могли. А ведь наши отцы и деды это, по крайней мере по-латыни, умели. <...> Причина в том, что эти языки мертвы, что на них больше не говорят, что нельзя импровизировать новых грамматических правил, которые в живых языках всегда идут в сторону упрощения. Самих грамматик древних языков не сохранилось. Нужно было самим их выводить из уцелевшей древней литературы. Потому знание древних языков и сводилось прежде всего к усвоению грамматических правил и исключений. Отыскание и формулировка этих правил для языков, на которых уже не говорят, от которых остались лишь письмена, были одними из замечательных достижений ума человека. Конечно, эта задача была еще труднее для разгадки иероглифов; через нее проникали в тайну образования языка. Это интереснейшая отрасль знания. Можно было желать, чтобы для тех, кто ею интересуется, существовали специальные школы. Но классические гимназии ставили задачу не так. Их аттестат был сделан непременным условием допущения в высшую школу – университет, где преподают и другие науки. Когда высшее образование перестало быть монополией привилегированных классов и должно было быть доступно для всех, средняя школа должна была всех готовить к его восприятию и брать мерилom подготовленности к этому не древние языки, а обладание нужными в жизни знаниями и уровень общего развития. Для этого было нужно не знание грамматик языков, на которых больше не говорят: почему тогда не требовать и знания иероглифов? Такое специальное знание общего развития не обеспечивало; так можно только готовить специалистов. Сторонники классического образования имели за себя другие доводы. Владение древними языками открывало доступ к всеобъемлющей классической цивилизации; в ней можно было найти зародыши всякого знания – религии, философии, права, государственных форм, исторических смен и т. д. <...> В тех пределах, в которых грамматика нужна для понимания текста, она дается так же легко, как и в живых языках или как давалась нашим отцам. Но если изучение классических языков и не давало в гимназии такого развития, то оно направляло обучение по ложной дороге. Во-первых, на древние языки уходило так много времени, что на другие предметы его уже не было. А во-вторых, многих знаний гимназия и не хотела давать. Конечно, некоторые предметы были так необходимы, что учиться им не мешали. Таковы математика, физика. Дурного влияния от них не боялись и потому их не уродовали. Зато предметы, относящиеся к гуманитарным знаниям, как литература, история, старались для учеников “обезвредить”. Как классическую литературу заменяли тонкостями грамматики, так, например, историю заменяли собственными именами и “хронологией”. В смысл и связь событий старались не углубляться. Если от учителя в меру его любви к своему предмету и ловкости и зависело провозить иногда запрещенный груз, то это была все-таки контрабанда, которая провозилась в маленьких дозах» (Маклаков В. А. Воспоминания. С. 30–33).

<sup>194</sup> С. И. Мицкевич, учившийся одновременно с В. А. Маклаковым в Московском университете, вспоминал: «На каждом

ударил по профессорам, чем по *студентам*. Его основная идея относительно нас, т. е. попытка объявить студентов «отдельными посетителями университета» и запретить им «всякие действия, носящие характер корпоративный», никогда полностью проведена быть не могла.

Припоминаю характерный случай. Когда я был еще гимназистом, я от старших слышал много нападок на новый университетский устав, и его негодность была для меня аксиомой. После брызгаловских беспорядков<sup>195</sup>, где в числе студенческих требований стояло «Долой новый устав», я как-то был у моих товарищей по гимназии Чичаговых, сыновей архитектора, выстроившего Городскую думу в Москве<sup>196</sup>. Разговор зашел о требовании «отмены Устава». Без всякой иронии, далекий от академической жизни, архитектор Д. Н. Чичагов нас спросил: «Что, собственно, вам в новом уставе не нравится?» В ответ мы ничего серьезного сказать не могли. *Мы не знали*. Нам, новым студентам, устав ни в чем не мешал; мы стали говорить о запрещении библиотек, землячества, о несправедливостях в распределении стипендий. Д. Н. Чичагов слушал внимательно, видимо стараясь понять, и спросил в недоумении: «Но ведь все это можно исправить, не отменяя устава?» Позднее я знал, что было бы нужно против устава сказать. А еще позднее я понял, что в совете архитектора Д. Н. Чичагова исправлять недостатки, не разрушая самого здания, было то правило государственной мудрости, которого не хватало не только моему поколению.

Время студенчества (1887–1894) лично мне дало очень много. Гимназистом я жил в среде людей, достигших заметного и твердого положения в обществе. В ней одной я не мог бы увидеть всего, что переживать в молодые годы полезно. К счастью, моя студенческая жизнь подпала под другие влияния. Я был в возрасте, когда ничего не потеряно и жизнь может определяться случайностью. Она и произошла со мной в ноябре 1887 года, т. е. через два месяца после моего поступления в университет.

22 ноября 1887 года я был на очередном концерте студенческого оркестра и хора. Оркестр был привилегированным студенческим учреждением; *его* концерт был внешней причиной посещения государя. Я сидел в боковых залах Собрания, когда мимо прошел инспектор Брызгалов. Я знал, что студенчеству он ненавистен, но с ним лично не сталкивался. Едва он

---

факультете в помощь инспектору был субинспектор, и на каждом курсе – педель. Педель отмечал посещение лекций, которое, по новому уставу, было обязательным, но правило это не соблюдалось строго, и на юридическом факультете, например, посещение лекций было очень слабое. Медики посещали лекции более аккуратно, но тоже не всех профессоров. Педеля наблюдали также за соблюдением формы, за малейшее нарушение которой они тащили студента к субинспектору для воздействия, но главной задачей их было наблюдать за тем, чтобы студенты не устраивали сходок и совещаний. Они были связаны с охранкой и давали, по-видимому, туда характеристики студентов, чем-либо выдававшихся по своей общественной активности. По виду педеля были похожи на жандармских унтер-офицеров или тюремных надзирателей – препротивные типы» (*Мицкевич С. И.* Революционная Москва. 1888–1905. М., 1940. С. 62).

<sup>195</sup> Под «брызгаловскими беспорядками» В. А. Маклаков имеет в виду происходившие в конце ноября 1887 г. массовые волнения студентов Московского университета, названные по имени инспектора этого университета А. А. Брызгалова. Характеризуя «систему Брызгалова», тогдашний студент Б. А. Щетинин писал: «В любом, ничтожнейшем нарушении устава он готов был видеть почти политическое преступление и всячески преследовать нарушителя, незаметно выраставшего в его глазах до степени опасного крамольника. Пошады не было никому, все и правые, и виноватые – ввергались в карцер, гостеприимно раскрывавший двери перед “преступником”. <...> Гнет брызгаловского режима день ото дня становился все тягостнее, быстро росли недовольство и раздражение, поднимался всеобщий ропот, в университетской атмосфере чувствовалась гроза, которая и разразилась, наконец, в студенческом концерте 22 ноября 1887 года» (*Щетинин Б. А.* Первые шаги (Из недавнего прошлого) // Московский университет в воспоминаниях современников: сборник. М., 1989. С. 542). В результате 22 ноября 1887 г. в зале Московского благородного собрания во время концерта оркестра и хора студентов Московского университета, при огромном стечении публики, после антракта в начале 2-го отделения произошло следующее. Когда А. А. Брызгалов возвратился в главный зал, студент 3-го курса юридического факультета А. Л. Сеньявский нанес инспектору сзади сильный удар по лицу. А. А. Брызгалов обернулся к нему, а студент со словами: «Вот тебе еще», с прибавлением бранного выражения, хотел ударить инспектора вторично, но А. А. Брызгалов успел отстранить этот удар, а А. Л. Сеньявский был задержан. На следующий день начались массовые студенческие волнения, в которых приняли участие сотни студентов, по причине чего 30 ноября последовало закрытие Московского университета и исключение из него 97 человек. Однако вместе с тем А. А. Брызгалов получил отставку. Подробнее см.: *Орлов В. И.* Студенческое движение Московского университета в XIX столетии. М., 1934. С. 191–199.

<sup>196</sup> Здание Московской городской думы было построено по проекту Д. Н. Чичагова в 1890–1892 гг. в неорусском стиле.

прошел, как из соседней залы послышался треск и все туда бросились. Студент Синявский только что дал Брызгалову пощечину. Этого я не видел своими глазами. Возможно, что зрелище насилия меня возмутило бы. Но когда я подбежал, Брызгалова уже не было, зато два педеля держали за руки бледного, незнакомого мне студента. Его потащили к выходу. Толпа студентов росла, когда его уводили. Я узнал, что случилось, и это было для меня откровением. В моих глазах живо стояло лицо арестованного. Я понимал, что его ожидает. В первый раз я видел перед собой человека, который добровольно всей своей будущей жизнью за что-то пожертвовал. Это одно из впечатлений, которые в молодости не проходят бесследно<sup>197</sup>.

Не я один это чувствовал. Никто не знал, что надо делать, но университетская традиция помогала. 24 ноября на двор Старого здания [Московского университета] собралась толпа, человек 200 или 300, и стала кричать: «Ректора». Это было тем, что именовалось «сходкой». Немедленно толпа запрудила Моховую и сквозь решетку смотрела, как «бунтуют» студенты. Сходка была сама по себе явлением не опасным, но власти с ней не шутили. Через несколько минут прибыли конные войска с Тверской и Никитской и университет со всех сторон оцепили. «Бунт» был оформлен. Приехал попечитель<sup>198</sup>, уговаривал разойтись; его освистали. Сходку пригласили в актовый зал; вышел ректор, студент Гофштеттер изложил ему различные требования, начиная с освобождения Синявского и отставки Брызгалова и кончая отменой устава. «Виновных» переписали, отобрали билеты и запретили вход в университет до окончания над ними суда. Участников сходки было так мало, что занятия в университете после этого продолжались и только городские, которые у входа проверяли билеты, напоминали, что в университете был только что бунт. Но беспорядки питают сами себя. Сочувствие к участникам сходки помогало расширению недовольствия. Те, кому запретили вход в университетские здания, стали собираться на улицах. В четверг 26 ноября состоялась большая сходка на Страстном бульваре. Ее разогнали силой, кое-кто пострадал; разнесся слух, будто оказались *убитые*. Тогда негодование охватило решительно всех. Тщетно сконфуженная власть эти слухи опровергала; напрасно те, кого считали убитыми, оказывались на проверке в добром здравьи. Никто не верил опровержениям, и они только больше нас возмущали. Помню резоны П. Д. Голохвастова, который меня успокаивал: «Вы не могли убитых назвать и за это на власть негодуете. Не может же она убить кого-либо для вашего удовольствия?» Эта шутка казалась кощунством. В университете не могло состояться ни одной уже лекции. Попечитель, туда показавшийся в субботу, был снова освистан. Университет пришлось закрыть, чтобы дать страстям успокоиться. За Московским университетом аналогичные движения произошли и в других, и скоро пять русских университетов оказались закрытыми<sup>199</sup>.

Это пустое событие произвело громадное впечатление на общественное мнение. Либеральная общественность ликовала: университет за себя постоял. «Позор» царского посещения был теперь смыт. Катков, который к осени 1887 года уже умер, был посрамлен в своей прежнеевременной радости. Молодежь оказалась такой, какой бывала и раньше. Конечно, в газетах нельзя было писать о беспорядках ни единого слова, но стоустая молва этот пробел пополняла.

<sup>197</sup> Сразу после инцидента с А. А. Брызгаловым А. Л. Синявский был отвезен в Тверской полицейский частный дом, а 29 ноября 1887 г. отправлен на три года в дисциплинарный батальон. «Судьба сжалилась над Синявским, – отмечал Б. А. Щетинин, – говорят, ему легко было отбывать суровое наказание в арестантских ротах, так как, благодаря мягкости своего характера и добродушию, он понравился тюремному начальству, которое относилось к нему весьма благосклонно. Впоследствии же он вновь принят был в университет и прекрасно его окончил» (Щетинин Б. А. Указ. соч. С. 544).

<sup>198</sup> Этот пост занимал граф П. А. Капнист.

<sup>199</sup> Непосредственным результатом событий в Московском университете явились студенческие волнения в Петербурге, Казани, Одессе и Харькове. В конце 1887 г. были временно закрыты помимо Московского еще четыре университета: Петербургский, Казанский, Новороссийский (Одесский) и Харьковский, а также Казанский ветеринарный и Харьковский технологический институты. Подробнее см.: Ткаченко П. С. Московское студенчество в общественно-политической жизни России второй половины XIX века. М., 1958. С. 160–172.

Студенты чувствовали себя героями. На ближайшей Татьяне<sup>200</sup> в «Стрельне» и в «Яре» нас осыпали хвалами ораторы, которых мы по традиции Татьянина дня выволакивали из кабинетов для произнесения речи. С. А. Муромцев, как всегда величавый и важный, нам говорил, что студенческое поведение дает надежду на то, что у нас создается то, чего, к несчастью, еще нет, – русское общество. Без намеков, ставя точки на *i*, нас восхвалял В. А. Гольцев: Татьянин день по традиции был днем бесцензурным, и за то, что там говорилось, ни с кого не взыскивалось. Но эти похвалы раздавались по нашему адресу не только во взвинченной атмосфере Татьянина дня. Я не забуду, как Г. А. Джаншиев мне наедине объяснял, какой камень мы – молодежь – сняли с души всех тех, кто уже переставал верить в Россию.

А между тем беспорядки 1887 года должны были бы скорее привести к обратному выводу. Наблюдательному человеку они могли показать, что молодежь не та, что была раньше, что даже та среда, которая оказалась способна на риск, откликнулась только на призыв к студенческой солидарности, а никакой «политики» не хотела и не шла дальше чисто университетских вопросов. Вот сценка, на которой я присутствовал сам.

На сходке 26 ноября на Страстном бульваре студенты заполняли бульвар, сидели на скамьях и гуляли, ожидая событий. Вдруг прошел слух, что на бульваре есть «посторонние» люди, которые хотели «вмешать в дело политику». Надо было видеть впечатление, которое это известие произвело на собравшихся. Мы бросились по указанному направлению. На скамье рядом со студентами сидел штатский в серой барашковой шапке. «Это вы хотите вмешать в наше дело *политику*?» Его поразила в устах студенчества такая постановка вопроса. Он стал объяснять, что надо использовать случай, чтобы высказать некоторые общие пожелания. Дальше слушать мы не хотели. «Если вы собираетесь это сделать, мы тотчас уходим; оставайтесь одни». Студенческая толпа поддерживала нас сочувственными возгласами. Он объявил, что если мы не хотим, то, конечно, он этого делать не станет. Долго говорить не пришлось. Показались казаки и жандармы, и началось избиение.

Этот эпизод характерен. Человек в серой барашковой шапке не был совсем «посторонним»; он был студентом-юристом четвертого курса. Только он был *старшего* поколения. И мы уже не понимали друг друга. Слово «политика» нас оттолкнуло. А мы были *большинство* в это время; от нас зависела удача движения; и «политики» мы тоже хотели. Ее действительно и не было в беспорядках этого года. Потому они и сошли для всех так благополучно. Власть опасности в них не увидела и успокоилась. Пострадавший Брызгалов был смещен и скоро умер. На его место был назначен прямой его антипод, С. В. Добров. Синявский, отбыв в арестантских ротах трехлетнее наказание, вернулся в Москву. Я с ним познакомился; исторические герои теряют при близком знакомстве. Я могу сказать положительно: громадное большинство университетской молодежи того времени на «политику» не реагировало.

Не могу сразу расстаться с серой барашковой шапкой. Судьба нас впоследствии сблизила. Но следующая встреча была забавна и характерна.

Этой зимой был юбилей Ньютона<sup>201</sup>, который праздновался в соединенном заседании нескольких ученых обществ, под председательством профессора В. Я. Цингера. Как естественник я пошел на заседание. Было много студентов. Мы увидели за столом Д. И. Менделеева. Он был в это время особенно популярен, не как великий ученый, а как «протестант». Тогда рассказывали, будто во время беспорядков в Петербургском университете Менделеев заступился за студентов и, вызванный к министру народного просвещения<sup>202</sup>, на вопрос последнего,

<sup>200</sup> Имеется в виду Татьянин день (12 января), по церковному календарю – День святой Татьяны (Татианы), считающейся небесной покровительницей Московского университета и вообще всех студентов и преподавателей вузов.

<sup>201</sup> И. Ньютон родился 25 декабря 1642 г. по юлианскому календарю, который действовал в Англии до 1752, в России – до 1918 г.

<sup>202</sup> Речь идет об И. Д. Делянове.

знает ли он, Менделеев, что его ожидает, гордо ответил: «Знаю; лучшая кафедра в Европе»<sup>203</sup>. Не знаю, правда ли это, но нам это очень понравилось, и Менделеев стал нашим героем. Неожиданно увидев его в заседании, мы решили, что этого *так оставить* нельзя. Во время антракта мы заявили председателю Цингеру, что если Менделееву не будет предложено почетное председательство, то мы сорвем заседание. В. Я. Цингер с сумасшедшими спорить не стал. И хотя Менделеев был специально приглашен на это собрание, хотя его присутствие сюрпризом не было ни для кого, кроме нас, после возобновления заседания Цингер заявил торжественным тоном, что, узнав, что среди нас присутствует знаменитый ученый (кто-то из нас закричал: «И общественный деятель») Д. И. Менделеев, он просит его принять на себя почетное председательствование на остальную часть заседания. Мы неистово аплодировали и вопили. Публика недоумевала, но не возражала. Мы были довольны. Но наутро, вспоминая происшедшее, я нашел, что надо еще что-то сделать. В момент раздумий я получил приглашение прийти немедленно на квартиру С. П. Невзоровой по неотложному делу.

Два слова об этой квартире. Старушка С. П. Невзорова, сибирская уроженка, в очках, со стриженной седой головой, была одной из многочисленных хозяек квартир, где жили студенты. Это было особой профессией; для одних содержание таких квартир было «коммерцией», для других – «служением обществу». Софья Петровна была типичной хозяйкой второй категории; она жила одной жизнью со своими молодыми жильцами и со всеми, кто к ним приходил. Защитница их и помощница, ничего для них не жалеющая, все им прощающая, не знавшая другой семьи, кроме той, которая у нее образовалась, она устроила у себя центр студенческих конспираций. Каждый мог к ней привести переночевать нелегального, спрятать запрещенную литературу, устроить подозрительное собрание и т. д. А в мирное время к ней собирались почти каждый вечер то те, то другие. Совместно в честь хозяйки готовили сибирские пельмени, пока кто-нибудь читал вслух новинки литературы (как сейчас помню, выходившую тогда в «Вестнике Европы» щедринскую «Пошехонскую старину»<sup>204</sup>). Потом поглощали пельмени, запивая чаем или пивом, и пели студенческие песни. Иногда спорили до потери голоса и хрипоты. Такие квартиры были во все времена. О них рассказывал Лежнев в тургеневском «Рудине». Они не меняли характера в течение века. Ибо главное – 20 лет у участников – оставалось всегда. Много воспоминаний связано у меня с такими квартирами. Они дополнительно воспитывали питомцев толстовской гимназии. Не всем были по вкусу нравы подобных квартир. Когда мой брат Николай, будущий министр внутренних дел, стал студентом, я его привел к Софье Петровне. Все там его удивляло и коробило; он не прошел моей школы. А его вежливость и воспитанность поливали холодной водой нашу публику. Более он сюда не ходил, да я его и не звал. Возвращаясь к рассказу.

У С. П. Невзоровой я застал тогда целое общество. Был и ставший позднее известным общественным деятелем Г. А. Фальборк, вечно кипящий, все преувеличивающий, стиль политического Хлестакова. Не знаю, кем он был в это время. Но, наверное, исключенным студентом; это было его обычное состояние. Он пришел сказать, что приезд Менделеева надо использовать, послать к нему депутацию; уверял, что с Менделеевым он очень дружен, что пре-

<sup>203</sup> Д. И. Менделеев 13 марта 1890 г. узнал о том, что в Петербургском университете готовится большая студенческая сходка, и дал согласие обратившимся к нему профессорам университета В. В. Докучаеву и А. А. Иностранцеву в случае необходимости призвать студентов к спокойствию. Во время проходившей 14 марта сходки Менделеев выступил перед студентами, предлагая им разойтись, а затем поехал к министру народного просвещения И. Д. Делянову и сообщил ему о требованиях студентов. На следующий день перед лекцией Менделеев обратился к студентам с предложением передать составленную ими петицию министру народного просвещения. После лекции Менделеев поехал к Делянову, однако не застал его на месте и оставил ему петицию со своей запиской. Министр 16 марта возвратил Менделееву петицию с формальной резолюцией о невозможности принять ее к рассмотрению. На возвращенной петиции 17 марта Менделеев сделал запись о своем решении оставить университет и 19 марта подал прошение об отставке, а 22 марта прочел последнюю лекцию в университете (Летопись жизни и деятельности Д. И. Менделеева. Л., 1984. С. 284–285).

<sup>204</sup> Хроника М. Е. Салтыкова-Щедрина «Пошехонская старина» печаталась в журнале «Вестник Европы» в 1887–1889 гг. и в 1890 г. вышла отдельным изданием.

дупредил его о депутации и что он ее ждет. Менделеев пробудет еще несколько дней, но откладывать нечего. Надо идти. Все немедленно согласилось быть в депутации. Никто себя не спросил, зачем и, главное, *от кого* идет депутация. Ждали только Гуковского. Я слышал это имя, но до тех пор его не встречал. Когда он явился, я неожиданно узнал в нем незнакомца в серой барашковой шапке.

Мы двинулись в путь. Фальборк довел нас до «Европы», где стоял Менделеев, но с нами войти не захотел. Говорил, что ему, как близкому другу Менделеева, в депутации неловко участвовать. Входя по лестнице, мы решили, что начнем с того, что явились как депутация. В разговоре станет понятно, о чем говорить. На стук в дверь кто-то ответил: «Войдите». За перегородкой передней мы увидели проф[ессора] А. Г. Столетова и остолбенели. Перспектива его встретить нам в голову не приходила, а разговор *при нем* не прельщал. Мы стояли в передней и переглядывались. Чей-то голос нетерпеливо сказал: «Ну что же, входите». И показала фигура Менделеева. Тогда один из нас объявил торжественным тоном: «Депутация Московского университета». Менделеев как-то стремительно бросился к нам, постепенно вытеснял нас назад в коридор, низко кланялся, торопливо жал всем нам руки. Он говорил: «Благодарю, очень благодарю, но извините, не могу, никак не могу». Когда мы очутились в коридоре, он, держась рукой за дверь, все еще кланялся, повторял «благодарю, не могу» и скрылся. Щелкнул замок. Мы разошлись не без конфуза.

В этот день я пошел на заседание Московского губернского земства. Вспоминая об утреннем посещении, я решил один отправиться опять к Менделееву узнать, *что* означал такой странный прием. Гостиница была в двух шагах. Мне ответили, что Менделеев с почтовым поездом уехал назад в Петербург. Делать было нечего. Но через несколько дней кто-то из профессоров при мне рассказывал моему отцу, что, заехав к Менделееву в назначенный час, они застали его на отъезде. Менделеев объяснил, что приехал на несколько дней отдохнуть и кое-кого увидеть, но что здесь все рехнулось. Накануне ему преподнесли «сюрприз» председательствования, а на другой день в одно утро пришло четыре или пять студенческих депутатий. Он принял одну, не зная, в чем дело; остальных не стал и пускать. Но поняв, что ему не дадут здесь покоя, поторопился уехать.

Когда мы рассказали про наше посещение Фальборку, он не смутился. Он дал нам тонко понять, будто на Менделеева было произведено властями давление и что его из Москвы удалили. Это объяснение нам больше понравилось. Я рассказал об этом шутовском эпизоде потому, что он очень типичен. На почве дезорганизованности студенческой массы так фабриковали тогда *депутации*, которые считали себя вправе говорить от имени всех.

А. И. Гуковского я потом видал очень часто. Годами он был немного старше меня, но бесконечно старше опытом и развитием. В глазах моего поколения он и его сверстники казались стариками, которые видали лучшие дни. Мы относились к ним с уважением, но их не понимали и за ними не шли. В грубой форме это сказалось, когда мы грозили уйти со Страстного бульвара. Это всегда ощущалось позднее. Нас уже разделяла какая-то пропасть. Говорю при этом только про идейную молодежь нашего времени, не «белоподкладочников». Лично я испытывал это с Гуковским. Я бывал у него очень часто: он меня просвещал политически, давал мне литературу, но держался от меня в стороне. Я никогда его не спрашивал, даже когда увидался с ним здесь в Париже, узнал ли он меня в числе тех, кто на Страстном бульваре заставил его замолчать. По той или другой причине тогда он мне или не верил, или меня щадил. Скоро он был арестован и посажен на три года в Шлиссельбургскую крепость<sup>205</sup>

<sup>205</sup> Имея в виду последние мемуары В. А. Маклакова, М. В. Вишняк писал: «В. А. Маклаков утверждает, что Гуковский был “посажен на три года в Шлиссельбургскую крепость” и там “выбросился из окна и разбился”. Это не могло случиться в Шлиссельбургской крепости: в списке сидельцев Шлиссельбурга имени Гуковского нет; на короткие сроки в Шлиссельбург не заточали; и выброститься из окна там было невозможно не только благодаря неотступному надзору стражи, но и из-за характера помещений, в которых содержали заключенных в конце прошлого столетия. По моим сведениям, Гуковский покушался

---

на самоубийство, находясь в Доме предварительного заключения: он бросился с галереи внутренней лестницы и при падении повредил ногу» (*Вишняк М. В.* «Современные записки»: воспоминания редактора. СПб.; Дюссельдорф, 1993. С. 55).

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.